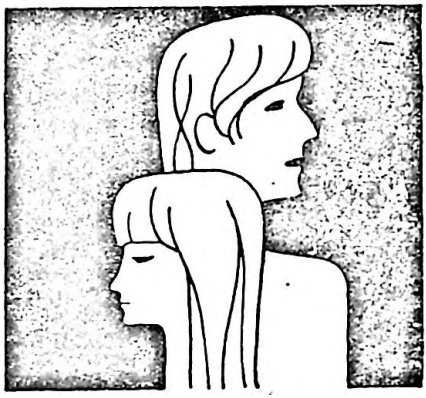
ВЕЩИ
ВЕЩИ
ВЕЩИ

ЖОРЖ ПЕРЕК

GEORGES PEREC

LES CHOSES

PARIS, 1965



ЖОРЖ ПЕРЕК

перевод с французского

БИБЛИОТЕКА КГПИ
Инв. № 108097

начала глаз скользнет по серому бобриковому ковру вдоль длинного, высокого и узкого коридора. Стены будут сплошь в шкафах из светлого дерева с блестящей медной окантовкой. Три гравюры: одна, изображающая Тандерберда, победителя на скачках в Эпсоме, другая — колесный пароход «Город Монтеро», третья — локомотив Стивенсона, — подведут к кожаной портьере на огромных черного дерева с прожилками кольцах, которые можно будет сдвинуть одним прикосновением. Тут бобрик уступит место почти желтому паркету, частично скрытому тремя коврами блеклых тонов.

Это будет гостиная: в длину семь метров, в ширину три. Налево, в нише, станет широкий потрепанный диван, обитый черной кожей, его зажмут с двух сторон книжные шкафы из светлой вишни, где книги напиханы как попало. Над диваном всю стену закроет старинная морская карта. По другую сторону низенького столика, над которым будет висеть, оттеняя кожаную портьеру, шелковый молитвенный коврик, прибитый к стене тремя гвоздями с широкими медными шляпками, под прямым углом к первому ди-

вану станет второй, крытый светло-коричневым бархатом, а за ним темно-красная лакированная горка с тремя полками для безделушек, там будут расставлены агатовые и каменные яйца, коробочки для нюхательного табака, бонбоньерки, нефритовые пепельницы, перламутровая раковина, серебряные карманные часы, граненый бокал, хрустальная пирамидка, миниатюра в овальной рамочке. Дальше обитая дверь, а за ней полки углом с вмонтированным в них проигрывателем, от которого будут видны лишь четыре рычага из гильошированной стали, на полках — коробки с магнитофонными лентами и пластинки. а над ними — гравюра, изображающая «Большое праздничное шествие на площади Карузель». Из окон, завешенных белыми с коричневым шторами (имитирующими полотно Жуи), будут видны деревья — крошечный сад, уголок улицы. Около секретера с опускающейся крышкой, заваленного бумагами и футлярами с карандашами и ручками, примостится кресло с соломенным сиденьем. Резной консоль послужит подставкой для телефона, переплетенного в кожу справочника, блокнота. Потом еще одна дверь, а рядом с ней вращающийся книжный шкаф, низенький квадратный, на котором будет стоять большая цилиндрическая ваза с синим орнаментом, наполненная желтыми розами, а над ней будет висеть овальное зеркало в раме красного дерева, далее — узенький столик с двумя обитыми клетчатой тканью банкетками приведет обратно к кожаной портьере.

Все будет выдержано в коричневатых, охровых, рыжеватых, желтоватых тонах — мир приглушенных оттенков, тщательно, почти вычурно, подобранных, среди которых выделится несколько более ярких пятен чуть ли не кричащего оранжевого цвета, какая-

нибудь диванная подушка или книга в пестром переплете, среди темного ряда корешков. Днем обилие света, несмотря на розы, придаст комнате несколько печальный вид. Эта комната будет создана для вечера. Вот зимой, с задернутыми шторами, с несколькими источниками света: в библиотечном углу, у дискотеки, на секретере, на низеньком столике между двух диванов, со скользящими отсветами в зеркале, погруженная в полутьму, в которой будут поблескивать и полированное дерево, и богато расшитые шелка, и граненый хрусталь, и начищенная медь, — комната эта станет гаванью отдохновения, обетованной землей.

Первая дверь приведет в спальню, где пол будет застлан ковром из светлого бобрика. Большая английская кровать займет всю стену в глубине. Направо, по обеим сторонам от окна, станут узенькие высокие этажерки, на них будут книги, те, что всегда должны быть под рукой, альбомы, колоды карт, разные горшочки, ожерелья и прочие безделки. Налево — старинный дубовый шкаф и две деревянные, украшенные медью вешалки, а напротив них, перед туалетом, низенькое, обитое стеганым шелком в тоненькую полоску креслице. Сквозь полуоткрытую дверь в ванную будут видны мохнатые купальные халаты, медные краны, вытянутые, как лебединые шеи, большое зеркало на шарнирах, бритва в зеленом кожаном футляре, флаконы, щетки с костяными ручками, губки. Стены спальни будут затянуты набивным ситцем, постель покрыта шотландским пледом. На ночном столике, с трех сторон опоясанном рядами ажурных медных полос, будет стоять серебряный подсвечник с абажуром из светло-серого шелка, четырехугольные часики, роза в бокале, а на нижней

Освещаться кабинет будет не особенно удобной старинной лампой под зеленым абажуром с козырьком. По обе стороны стола почти друг напротив друга станут два деревянных кресла с высокими спинками и кожаными сиденьями. Еще левее, вдоль стены — узенький стол, заваленный книгами. Возле серой металлической картотеки и ящиков из светлого дерева со справочным материалом станет глубокое кабинетное кресло, обитое кожей бутылочного цвета. На третьем столике, еще меньшего размера, поместятся шведская лампа и пишущая машинка в клеенчатом чехле. В глубине будет стоять узкая кровать, покрытая ультрамариновым бархатом и заваленная разноцветными подушками. Почти посредине кабинета встанет треножник из крашеного дерева, а на нем глобус из папье-маше с мельхиоровой подставкой, наивно раскрашенный под старину. Позади письменного стола, наполовину скрытая красивой оконной шторой, спрячется лесенка из вощеного дерева, которую можно будет передвигать по опоясывающему комнату медному пруту.

Жить там стало бы легко и просто. Все обязанности, все проблемы, которые выдвигает жизнь, разрешались бы сами собой. Каждое утро станет приходить прислуга. Два раза в месяц поставщики будут доставлять вино, масло, сахар. Кухня будет просторная и светлая, выложенная доверху бледно-голубыми плитками с гербами, на стенах три фаянсовых блюда с желтыми арабесками, отсвечивающие металлом; всюду шкафы, посредине отличный стол, некрашеного дерева табуретки, скамейки. Как приятно будет утром после душа сидеть там полуодетым! На

после нескольких месяцев безоблачного счастья постепенно становилось очевидным, что этого все-таки недостаточно и они не смогут примириться с недостатками своего жилища. Правда, они так привыкли жить в каморках, где лишь спали, проводя все остальное время в кафе, что не сразу осознали: для самых простых жизненных потребностей — спать, есть, читать, разговаривать друг с другом, мыться — для всего этого необходимо какое-то пространство, отсутствие которого неминуемо сказывается. Они утешались как могли, восхваляя достоинства своего квартала: близость к улице Муфтар и Ботаническому саду, тишину переулка, изысканность низкого потолка и прелестные во все времена года деревья во дворе; но подспудно все уже трещало по швам под натиском вещей: мебели, книг, тарелок, бумаги, пустых бутылок. Началась война на измор, из которой им не суждено было выйти победителями.

Их жилье общей площадью в тридцать пять квадратных метров, которое они так и не решились точнее измерить, состояло из крохотной прихожей, ничтожной кухоньки, половина которой была отгорожена для подобия ванной, маленькой спаленки и комнаты, служившей и библиотекой, и гостиной, и кабинетом, и приютом для заночевавших друзей. Между спальней и передней был еще закоулок, где примостились маленький холодильник, электрическая печка и купленный по случаю гардероб; там же стоял стол, за которым они ели, и сундучок для грязного белья, служивший им скамейкой.

Иногда теснота становилась невыносимой. Они задыхались. Сколько бы они ни фантазировали, раздвигая стены своей квартирки, пристраивая коридоры, стенные шкафы, чуланы, изобретая образцовые гар-

БИБЛИОТЕКА НПИ
Инв. № 108097

или ничего. Книжные шкафы будут из светлого дуба или их вовсе не будет. Их и не было. Книги громоздились на двух замызганных деревянных этажерках и на полках стенного шкафа, вовсе для них не предназначенных. Почти на всех стенах повисли уродливые, отставшие, спутанные провода, а они целых три года так и не собрались вызвать электромонтера. Полгода им понадобилось, чтобы сменить шнур у занавесок. Легко устранимые, повседневные неполадки за сутки перерастали в полный беспорядок, который близость деревьев и сада за окном делала еще непереносимее.

Ощущение временности настоящего положения вещей главенствовало в их жизни. Они ждали какого-то чуда. Тогда они пригласят архитекторов, подрядчиков, штукатуров, водопроводчиков, обойщиков, маляров. Отправятся в кругосветное путешествие, а по возвращении найдут свое жилище преображенным, удобным, совсем обновленным, образцовым, чудесным образом расширившимся, наполненным вещами соответствующих ему размеров, с раздвижными перегородками и дверями, удобным скрытым отоплением, внутренней электропроводкой, с мебелью самого хорошего вкуса.

Но великие мечтания, которым они самозабвенно предавались, оставались мечтами, а их реальные усилия равнялись нулю. Они не предпринимали никаких попыток согласовать насущные потребности с реальными возможностями. Их парализовывал размах собственных желаний.

Это отсутствие простоты и даже здравого смысла было для них характерным. Им не хватало независи-

но: даже если бы они становились все богаче и богаче, им бы не удалось изменить свое прошлое. Им так хотелось жить в комфорте, среди прекрасных вещей! Но они без разбору всем восхищались, восторгались, и именно это и являлось доказательством их чужеродности. Им недоставало преемственности (в самом примитивном значении этого слова) — богатство не было для них чем-то само собой разумеющимся, неотъемлемым, присущим человеку, как ощущение собственного здоровья, — нет, для них это было наслаждение чисто умозрительное. Слишком часто в том, что они называют роскошью, они любили всего лишь деньги, которые за ней стояли. Они падали ниц перед богатством; любили его больше, чем самое жизнь.

Первые же их выходы в свет из замкнутого студенческого мирка, первые рейды в стихию роскошных магазинов, которые вскоре стали их обетованной землей, были с этой точки зрения весьма знаменательными. Неустойчивый вкус, мелочная придирчивость, неопытность, подобострастное преклонение перед всем, что, как им казалось, свидетельствует о хорошем вкусе, часто приводили их к унизительным промахам. Одно время Жером и его друзья одевались так, будто образцом для них послужил не английский джентльмен, а карикатура, какую представляет собою подражающий ему эмигрант с ограниченными средствами. Когда Жером купил себе первые вожделенные английские ботинки, он заботливо и долго деликатным вращательным движением натирал их кремом высшего качества, а потом выставил на солнце, чтобы они как можно быстрее приобрели поношенный вид, требуемый модой. А ведь если не считать грубых мокасин на нейлоновой подошве, ко-

торые он не желал носить, это были, увы, его единственные ботинки: он истаскал их по плохим дорогам за полгода.

Постепенно, с возрастом, умудренные опытом, они, казалось, попривыкли несколько соразмерять и обуздывать свои пылкие страсти. Научились ждать, приглядываться. Медленно начал вырабатываться и вкус, более верный, более обоснованный. Они давали теперь своим желаниям время созреть: глаза их уже не были столь завидущими. Теперь, прогуливаясь в окрестностях Парижа и останавливаясь перед витринами деревенских антикваров, они уже не набрасывались на фаянсовые тарелки, церковные стулья, на бутыли пузырчатого стекла или на медные подсвечники. Правда, в их воображении все еще маячило в неприкосновенности наивное видение образцового жилища, где будут царить комфорт и безоблачное счастье. Они продолжали восхищаться всеми вещами, которые мода сегодняшнего дня считала прекрасными: и поддельными лубочными картинками, и гравюрами в английском стиле, и агатовыми безделушками, и стеклом, отделанным серебром, и всяческими псевдоафриканскими поделками и ультранаучными пустячками, которые вдруг наводняли витрины улиц Жакоб и Висконти. Они все еще мечтали обладать ими: им хотелось бы прослыть знатоками, идущими в ногу со временем. Но этот подражательный раж постепенно притуплялся, им уже было приятно думать, что постепенно они становятся менее агрессивными, крикливыми и ребячливыми. Они сожгли то, чему поклонялись: волшебные зеркала, чурбаны, идиотские механические игрушки, радиометры, всю

разноцветную дребедень, джутовые панно, изукрашенные грифами в манере Матье *. Им казалось, что мало-помалу они научились обуздывать свои желания: они знают теперь, чего хотят, к чему стремятся. Они знают, в чем их счастье, их свобода.

И тем не менее они ошибались: они были как никогда близки к катастрофе. Они уже вступили на путь, ни поворотов, ни конца которого они не ведали. Иногда их охватывал страх. Но чаще всего они проявляли лишь нетерпение: они ощущали себя уже подготовленными, уже созревшими для этой жизни — они ждали лишь денег.

Жерому было двадцать четыре года. Сильвии — двадцать два. Оба были психосоциологами. Эта работа, которая не являлась профессией или ремеслом в точном смысле слова, заключалась в интервьюировании людей различными методами и на разнообразные темы. Это было трудное занятие, безусловно, требовавшее сильного нервного напряжения, но оно не лишено было и увлекательности, относительно хорошо оплачивалось и оставляло довольно много свободного времени.

Как и большинство их коллег, Жером и Сильвия стали психосоциологами по необходимости, а не по выбору. Кто знает, впрочем, куда привело бы свободное и беспрепятственное развитие их склонностей. Время и тут сделало выбор за них. Конечно, они предпочли бы, как и все, посвятить себя чему-то определенному, почувствовать мощное влечение, которое можно было бы назвать призванием, которое

---

* Современный французский художник-абстракционист.

Дорога, по которой они шли, ценности, к которым они тянулись, их будущее, их желания, честолюбивые мечты — все это, правду сказать, казалось им подчас обескураживающе пустым. Они так и не познали ничего устойчивого, прочного и определенного. И тем не менее это была их жизнь — источник незнаемых ранее радостей, которые не только их пьянили, но и потрясали своей необъятностью. Иногда они твердили себе, что в будущем их жизнь наполнится очарованием, изяществом и причудливостью американских комедий в духе Сола Басса, перед их мысленным взором проносились, как обещание, дивные сверкающие видения: девственные снежные поля, прорезанные следами лыж, голубой простор моря, солнце, зеленые холмы, огонь, потрескивающий в каминах, опасные автострады, пульмановские вагоны, роскошные отели.

Они расстались со своей комнатушкой и студенческими столовками. Они нашли на улице Катрфаж, в доме номер семь, напротив мечети и совсем близко от Ботанического сада квартирку из двух комнат, выходившую окнами в хорошенький садик. Они возжаждали бобриковых ковров, столов, кресел, диванов.

В те годы они без конца разгуливали по Парижу. Перед каждым антиквариатом они останавливались. Долгие часы они слонялись по универсальным магазинам, зачарованные и уже испуганные, но еще не смея признаваться себе в этом страхе, еще не осмеливаясь отдать себе отчет в той бессмысленной одержимости, которая становилась их уделом, смыслом их жизни, их единственным мерилом; они и восхищались всем и уже захлебывались необъятностью своих жела-

ний, всей этой роскошью, выставленной напоказ, предлагаемой им в неограниченном количестве.

Они обнаружили ресторанчики на улицах Гобелен, Терн, Сен-Сюльпис; пустынные бары, где так приятно шушукаться, уикенды в окрестностях Парижа, длинные прогулки осенью в лесах Рамбуйе, в Во, в Компьене, почти идиллические радости, повсюду уготованные глазу, уху, нёбу.

Так мало-помалу приобщались они к действительности, пускали более глубокие корни; ведь в прошлом эти выходцы из ограниченной мещанской среды были лишь вялыми, ко всему равнодушными студентами, которые имели о жизни весьма узкое и поверхностное представление; теперь же, как им казалось, они начали понимать, каким именно должен быть порядочный человек.

Это чрезвычайное открытие, которое, собственно, лишь с натяжкой можно было назвать таковым, увенчало их превращение, явилось завершением длительного социального и психологического созревания, последовательные периоды которого они и сами не в силах были бы описать.

Как и их друзья, они подчас вели довольно беспорядочную жизнь.

У них образовалась своя компания, что называется, своя бражка. Они хорошо знали друг друга, них были общие, заимствованные друг у друга взгляды, общие привычки, вкусы, воспоминания. У выработался свой особый язык, свои приметы, пристрастия. Они не в точности походили друг

мешало им более
жать друг другу, и поэтому боль
зни они проводили, обмениваясь раз
ми. Иногда это приводило к взаимным обидам,
чаще просто забавляло их.

Почти все они работали для рекламных агентств. Которые, впрочем, продолжали — или, во всяком случае, тщились продолжать свое образование. Как правило, они знакомились в наскоро сварганенных, невдоделовитых рекламных конторах. Они вместе выслушивали, торопливо записывая пошлые наставления и мрачные шуточки директоров агентств; презрение к этим выскочкам, к этим рвачам, торгашам, наживающимся на супе, объединило их. Но прежде всего их объединяла и простая необходимость прожить пять-шесть дней вместе в дешевых гостиницах маленьких городков, тут уж им поневоле приходилось призывать на помощь дружбу, чтобы скрасить жалкие совместные трапезы.

Ведь завтраки их были бы слишком поспешными и деловыми, а обеды тянулись бы нестерпимо долго, если бы печальные физиономии этих коммивояжеров не озарял чудодейственный свет дружбы, делая памятным и провинциальный вечер и разбитую глиняную миску, поставленную им в счет каким-нибудь скрягой рестораторам. Они забывали тогда свои магнитофоны, отбрасывали не в меру вежливый тон вышколенных психологов. Засиживались за столом. Толковали о себе самих и о мирозданье, обо всем и ни о чем, о своих вкусах, о честолюбивых стремлениях. Потом бродили вместе по улицам, отыскивая приличный бар, — ведь должен же такой иметься в городе, захватывали его с разбегу и просиживали там далеко

Из всех еженедельников «Экспресс» занимал в их жизни самое видное место. По правде говоря, не так уж они его любили, но они его покупали или брали друг у друга, регулярно читали и даже, как сами признавались, сохраняли старые номера. Часто они не были согласные с политической линией «Экспресс» (однажды, полные священного негодования, они даже написали коротенький памфлет на его солдафонский стиль), в принципе они предпочитали обзоры «Монд», которой были единодушно преданы, и даже позиции «Либерасьон», которой склонны были сочувствовать. Но их подлинным жизненным вкусам соответствовал один лишь «Экспресс», и хотя, по совести говоря, они считали публикуемые в нем материалы приукрашенными и неточными, каждую неделю они находили в нем то, что отвечало их повседневным запросам. Случалось, что они возмущались им. Да и в самом деле, стоило только Жерому и Сильвии подумать об этом стиле поддельного благородства, намеков, скрытой издевки, плохо замаскированной зависти, фальшивых восторгов, грубого заигрыванья, подмигиванья, подумать об этом рекламном балагане, каким является «Экспресс», о его цели, а не методах, о его истинном обличье, подумать обо всех этих мелочах, якобы преобразующих жизнь, недорогих, но необыкновенно забавных безделках, обо всех этих ловких дельцах, отлично понимающих насущные проблемы, об этих специалистах, знающих, что они делают, о чем говорят, и умеющих дать это почувствовать, — словом, об этих дерзких мыслителях, которые мнили себя глашатаями двадцатого века, с трубкой в зубах собираясь еженедельно на форум или за круглым столом, — стоило подумать об этом скопище высокоответственных людей, этих воротил, с уст которых не сходи-

Они втайне мечтали о диванах Честерфилд. «Экспресс» мечтал о них вместе с ними. Большую часть своего отпуска они употребляли на беготню по деревенским распродажам, раздобывая там по дешевке оловянную посуду, соломенные стулья, стаканы, так и звавшие напиться из них, ножи с костяными ручками, разные потемневшие от времени плошки, которые они обращали в драгоценные пепельницы. Они были уверены, что обо всех этих вещах сообщал или сообщит «Экспресс».

Однако при любой покупке они существенно отклонялись от советов «Экспресс». Они ведь все еще не обосновались по-настоящему, и, хотя их именовали охотно «кадрами», у них не было ни гарантированного заработка, ни поощрительных двойных ставок, ни премий, которые получают постоянные служащие, работающие по договору. «Экспресс» же рекламировал под видом маленьких магазинов, недорогих и уютных (пока вы будете выбирать, хозяин по-приятельски предложит вам стаканчик вина и сандвич), такие заведения, где вам переоборудуют квартиру в соответствии с требованиями современной моды, — и тут вам не обойтись без беленых стен и бобрикового ковра коричневых тонов (его может заменить разве что мозаичный пол из старинных плиток); хорошо, если будут видны дерезянные балки, а к ним прибавятся внутренняя лесенка и настоящий камин с горящими в нем дровами, мебель непременно должна быть деревенская, лучше всего провансальская — ее особенно рекомендуют. Реклама неистовствовала: по всему Парижу рекламировались картинные галереи, галантерейные лавки, магазины книжные и мебельные, торгующие безделушками, даже бакалейные лавки (нередко какой-нибудь ста-

ничего: тут сказывалось постоянное несоответствие между их претензиями (все было для них недостаточно хорошо) и деньгами, которыми они обычно располагали, — и это было хоть и второстепенным, но все же красноречивым признаком их реального положения; и они не были исключением; вместо того, чтобы покупать в магазинах на распродажах, которые устраиваются повсюду три раза в году, они предпочитали поношенные вещи. В мирке, к которому они принадлежали, как правило, все желали большего, чем могли себе позволить. Не ими это было заведено — таков закон цивилизации, наиболее точным выражением которого стали реклама, иллюстрированные журналы, искусно оформленные витрины, вид улиц и даже, с известной точки зрения, все изделия, которые принято называть «культурными». Поэтому напрасно чувствовали они себя уязвленными, когда робко приценивались к какой-нибудь вещи, пытались торговаться, разглядывали витрины, не решаясь войти, — ведь все эти их унижения и неосуществленные желания тоже были своего рода двигателем торговли. Они гордились, купив что-нибудь подешевле — за бесценок, почти задаром. Но еще больше гордились они (ведь всегда дорого платят за удовольствие дорого заплатить), когда платили дорого, дороже дорогого, сразу, не раздумывая, почти опьянев, за то, что не могло не быть самым прекрасным, единственно прекрасным, совершенным. И чувство унижения и чувство гордости исходили из одного и того же корня, одинаково несли им разочарование и боль. Они понимали, почему это происходит: ведь с утра до вечера все кругом — объявления, рекламы, неон, освещенные витрины — твердило, вопило о том, что они стоят

ное отпочкование от родительской среды, те же перспективы, которые, как им казалось, они сами себе наметили.

Они были вполне современными. Им было по нутру их существование. Уж кто-кто, говорили они, а они не простачки. Они знают себе цену. Они были самоуверенны или, во всяком случае, старались быть такими. Они обладали чувством юмора. И уж, во всяком случае, они не были дураками.

Если бы произвести достаточно глубокий анализ, в группе, которую они составляли, можно было бы обнаружить различные течения и скрытый антагонизм. Придирчивый, суровый социолог сразу бы обнаружил расхождения, взаимоисключающие противоречия, скрытую вражду. Случалось, что кто-либо из них из-за самого незначительного происшествия, легкой размолвки или замаскированной провокации сеял раскол. Тогда вся их прекрасная дружба шла прахом. С притворным изумлением обнаруживали они, что такой-то, которого они все считали щедрым, оказался на поверку настоящим скаредом, а другой — черствым эгоистом. Вспыхивали пререкания, назревали разрывы. Иногда им даже нравилось злорадно натравливать одних на других. Нередко в компании наступал длительный период взаимного недовольства, отдаления, холодности. Они избегали друг друга, придумывая для этого все новые предлоги, пока не приходила, наконец, пора извинений, прощения, горячего примирения. В конечном счете они уже не могли жить друг без друга.

Эта игра их сильно занимала, и они отдавали ей

реть, о будущем человечества, о политической ситуации, о предстоящем отпуске, о том, который уже позади, о поездке в деревню, о путешествии в Брюгге, Антверпен или Базель. Иногда они совершенно теряли контакт с действительностью, сообща погружались в мечты и не желали пробудиться от них, а, наоборот, с каким-то молчаливым упорством стремились все сильнее их разжечь. Время от времени кто-либо из них поднимал руку, и вновь появлялся официант, уносил пустые кружки, возвращался с новыми, а их головы все больше и больше тяжелели, и в результате разговор вертелся уже только вокруг того, что́ они пили, вокруг их опьянения, их желания продолжить попойку, их счастья.

Они были влюблены в свободу. Им думалось, что все в мире им по плечу: они жили в соответствии со своими желаниями, их силы были неистощимы, а энтузиазм не знал границ. Они способны были ночи напролет бродить, бегать, танцевать, петь.

На следующий день они не встречались. Парочки отсиживались по домам, чувствовали себя разбитыми, соблюдали диету, налегали на черный кофе и тонизирующие порошки. Из дому выходили только к ночи — шли в какую-нибудь дорогую закусочную съесть натуральный бифштекс. Принимали драконовские решения: они бросают курить, бросают пить, перестают сорить деньгами. Они чувствовали себя опустошенными, глупыми и, вспоминая о своей лихой попойке, всегда испытывали тоску и смутное раздражение, их раздирали противоречивые чувства: душевное состояние, побудившее их пить, лишь усугубилось, выявив полное одиночество, всю глубину взаимного непонимания и непреодолимые противоречия, от которых некуда деться.

То у одних, то у других устраивались иногда роскошные обеды, чуть ли не настоящие пиры. В обычное время они пользовались своими тесными кухоньками, зачастую крайне неудобными, и сервировка у них была с бору по сосенке, но иногда среди разнокалиберной посуды попадалась и дорогая вещь. Рядом с тончайшим бокалом оказывался стаканчик из-под горчицы, рядом с кухонным ножом — серебряная ложечка с вензелем.

Они приходили все вместе с улицы Муфтар, нагруженные съестным: тут были плетенки с персиками, дынями, целые корзины сыров, бараньи ноги, дичь, в зависимости от сезона — корзины устриц, горшочки с паштетом, икра и, наконец, ящики вина, портвейна, минеральной воды, кока-колы.

Их собиралось человек девять-десять. Они битком набивались в узенькой комнате с единственным окном, выходящим во двор; диван, крытый шероховатым бархатом, стоял в глубине алькова — туда забивались трое, их задвигали столом, остальные размещались на разрозненных стульях и табуретках. Они нескончаемо ели и пили. Пышность и изобилие этих пиршеств доходили до смешного, по правде говоря, с точки зрения настоящего гастронома, все это было довольно убого: жаркое и дичь без соуса, из овощей — всего-навсего вареная или жареная картошка, а если дело происходило в конце месяца, то основным блюдом и вовсе служили макароны или рис, приправленные оливками и анчоусами. Сложные блюда были не для них. Самой дерзновенной кулинарной выдумкой являлась дыня, залитая портвейном, бананы в подожженном роме или огурцы в сметане. Прошли годы, прежде чем они заметили, что существует определенная техника, чтобы не ска-

зать — искусство кулинарии, и что все их излюбленные кушанья не более чем грубая пища, плохо приготовленная и весьма далекая от изысканности.

И в этом тоже проявлялась двусмысленность их положения: их представление о пиршестве полностью зависело от тех обедов, которые они несколько лет получали в университетских столовках: они так долго питались тощими, жилистыми бифштексами, что шатобрианы и нежные филе стали для них предметами истинного культа. Мясо под соусом и супы долгое время их не привлекали: чересчур свежо было воспоминание о блестках жира, плавающих поверх нескольких кружков моркови в близком соседстве с лежалым сливочным сырком и ложкой желатиноподобного варенья. Пожалуй, они любили все, что не требовало особых кулинарных ухищрений, но благоговели перед пышностью. Они обожали изобилие и показное богатство. Они отрицали долгую стряпню, которая обращает в изысканные блюда самые незамысловатые продукты, но требует множества сотейников, мисок, сечек, терок, жаровен. От одного вида колбасной у них голова шла кругом именно потому, что там все можно было тут же съесть: они любили паштеты, салаты, украшенные разводами из майонеза, окорока и яйца в желе, но, не выдержав соблазна, тут же раскаивались — стоило ткнуть вилкой в желе, украшенное ломтиком помидора и веточкой петрушки, как обнаруживалось, что под ним всего лишь крутое яйцо.

Центральное место в их жизни занимало кино. Оно, и только оно, воспитывало их чувства. Тут они никому не подражали. По возрасту и своему развитию

они принадлежали к тому первому поколению, для которого кино стало не только искусством, а явью; они его знали с детства, и не в стадии формирования, но сразу со всеми его шедеврами и уже сложившейся историей. Иногда им казалось, что они выросли вместе с ним и поэтому-то понимают его так, как до них никто не способен был его понять.

Они были кинофилами. Это была их главнейшая страсть, они отдавались ей почти ежевечерне. Им нравились все кинокартины, лишь бы они были красивы, увлекательны, очаровывали бы и захватывали их. Им нравилось с помощью картин перемещаться во времени и в пространстве; им нравилось переноситься из бешеной сутолоки нью-йоркских улиц в дремотное оцепенение тропиков и обратно — в буйное неистовство салунов. И при всем том они не были узкими сектантами, как некоторые тупицы, для которых свет клином сошелся на Эйзенштейне, Бюнюэле, или Антониони, или, наконец, — надо сказать обо всех, коли начал обобщать, — Карне, Видоре, Олдриче или Хичкоке; они не были эклектиками, как некоторые инфантильные субъекты, которые теряют способность критически мыслить и вопят о гениальности, увидев, что голубое небо передано как голубое небо, а легкий пламень платья Сид Чарис выгодно выделяется на темно-красном диване Роберта Тейлора. Они не были лишены вкуса. У них было сильное предубеждение против так называемого серьезного кино, оттого-то они и восхищались произведениями, к которым такое определение было неприменимо («Послушайте, — говорили они, и были тут совершенно правы, — «Мариенбад» — это же дерьмо!»), и преувеличенно восторгались вестернами, картинами ужасов, американскими комедиями, где их захватыва-

ли необычайные приключения, сдобренные лирическими порывами, а также пышная роскошь, окружающая героев, и головокружительная, почти непостижимая красота героинь. Они постоянно вспоминали такие картины, как «Лола», «Скрещение судеб», «Заколдованные», «Надпись на ветре».

Они редко посещали концерты, а театр и того реже. Но они постоянно встречались, не сговариваясь, в Синематеке, в кино «Пасси», «Наполеон» или в маленьких кинотеатрах — таких, как «Курзал» на улице Гобелен, «Техас» на Монпарнасе, «Бикики», «Мексико» на площади Клиши, «Альказар» в Бельвиле, и многих других близ площади Бастилии или в Пятнадцатом округе; эти невзрачные, неблагоустроенные залы посещали одни безработные, алжирцы, старые холостяки да завзятые кинофилы, потому что там можно было увидеть — правда, безобразно дублированными — те дотоле невиданные ими шедевры, о которых они слышали еще пятнадцатилетними, или те фильмы с репутацией гениальности, список которых они с давних пор держали в голове, но все никак не могли увидеть. Они хранили чарующие воспоминания о впервые или повторно открытых ими фильмах, таких, как «Красный корсар», «Весь свет ему принадлежит», «Ночные пираты», «Моя сестра Эйлин», «Пять тысяч пальцев доктора Т.». Но чаще всего, увы, их постигало горькое разочарование. Лихорадочно листая по четвергам свежий выпуск «Программы зрелищ», они долго выискивали фильмы, о которых им давно твердили как о чуде, и наконец-то они находили долгожданное объявление. В тот же вечер они всем скопом устремлялись в вожделенное кино. Они едва сдерживали дрожь нетерпения, пока экран не загорался, но краски поблекли, изображение прыгало,

а женщины невыносимо устарели. Они покидали зал, им было грустно. Нет, не о таком фильме они мечтали. Это не был тот шедевр, который каждый из них носил в себе, тот совершенный фильм, который не подвластен времени. Тот фильм, который каждый из них хотел бы создать сам. Или который каждый из них глубоко втайне мечтал пережить.

Так вот они и жили, они и их друзья, в симпатичных загроможденных квартирках, разнообразя жизнь похождениями, киноувлечениями, братскими пирушками, чудесными мечтами. Они не были несчастливы. Они радовались жизни, правда, радость эта была мимолетная, недолговечная. По вечерам, отобедав, они иногда подолгу засиживались за столом, попивая вино, щелкая орехи, покуривая. В иную ночь они не могли уснуть и, прислонясь к подушкам, полусидя, поставив между собой на кровать пепельницу, болтали до утра. Иногда они часами бродили по улицам, разговаривали и разглядывали себя в зеркальных витринах. Тогда им казалось, что все вокруг замечательно: они шли, свободно размахивая руками, двигались непринужденно, время, казалось, было не властно над ними. И этого мгновенья им было вполне достаточно; вот они здесь, на улице: пусть холодно, пусть дует ветер, они тепло одеты и не торопясь шагают, направляясь на склоне дня к друзьям, радуясь каждому движению — закуривают ли сигарету, покупают ли пакетик жареных каштанов, пробираются ли сквозь привокзальную сутолоку, — все эти преходящие удовольствия казались им зримым символом нескончаемого счастья.

Летом они иногда бродили ночь напролет по не-

знакомым кварталам. Высоко на небе стояла полная луна, бросая на все затуманенный свет. Пустынные широкие улицы, в тишине которых синхронно и гулко отдавались их шаги, уходили в неведомую даль. Мимо почти беззвучно скользили редкие такси. Тогда они воображали себя владыками вселенной. Их охватывало непонятное возбуждение, словно в них пробуждались какие-то тайные силы. Взявшись за руки, они бросались бежать, или играли в догонялки, или прыгали на одной ножке, распевая во весь голос арии из «Cosi fan tutte» * или «Мессы си минор» **.

Устав, они заходили в какой-нибудь ресторанчик, почти благоговейно воспринимая его дружественное тепло, стук ножей и вилок, позвякивание стаканов, приглушенные голоса, многообещающую белизну скатертей. Они тщательно выбирали вино, медленно разворачивали салфетки и, блаженствуя в этом тепле, затягивались сигаретой, которую, едва раскурив, гасили, как только подавали закуски, они думали, что вся их жизнь будет бесконечной чередой таких вот неизъяснимых мгновений, и они всегда будут счастливы, потому что заслуживают счастья, умеют его беречь, ибо оно в них самих. Сидя друг против друга, они сейчас утолят голод, и все эти вещи: белая скатерть грубого полотна, синяя пачка сигарет «Житан», фаянсовые тарелки, чересчур массивные приборы, бокалы на ножках, плетеная корзинка со свежим хлебом, — составляют вечно обновляющее обрамление утех чревоугодия, находящихся на грани пресыщения: ощуще-

---

* «Так поступают все», опера Моцарта.
** Месса И. С. Баха.

ние, почти в точности противоположное и почти в точности совпадающее с тем, которое дает скорость, а именно состояние необыкновенной наполненности и необыкновенной удовлетворенности. Во всем, начиная с этого накрытого стола, они ощущали необычайную гармонию: они жили заодно со всем миром, чувствовали себя в нем легко и свободно и ничего не боялись.

Возможно, они несколько лучше других умели предугадывать или даже создавать благоприятные мгновенья. Их слух, осязание, обоняние были всегда начеку, подстерегая счастливые мгновения, которые подчас обнаруживаются благодаря сущим пустякам. Но в момент полного душевного покоя, когда, казалось, ничто не могло нарушить состояние счастливой гармонии, в которой они пребывали, радость их была так сильна, что это лишь подчеркивало ее преходящесть и недолговечность. Достаточно было ничтожного повода, чтобы все рухнуло: малейшая фальшивая нота, просто минута неуверенности, какая-нибудь грубость — и их счастье ускользало, оно оборачивалось тем, чем всегда и было на самом деле — неким подобием договора, чем-то купленным, хрупким и жалким, просто минутной передышкой, после которой их жестоко отбросят назад к тому, что было самым опасным, самым непрочным в их жизни, во всей их судьбе.

Беда в том, что надобность в опросах не вечна. Настанет день, когда Жером и Сильвия должны будут сделать выбор: то ли остаться на временной службе, вечно опасаясь безработицы, то ли закрепиться в каком-нибудь агентстве, поступить туда на штатную

службу. А может, и вообще переменить профессию, найти другую халтуру, но это не решило бы окончательно проблемы. Ведь если служащим, еще не достигшим тридцати лет, предоставляют некоторую независимость, возможность работать на собственный риск и даже поощряют некоторые их вольности, молодую изобретательность, склонность к экспериментам — словом, то, что иногда называют поливалентностью, то от сотрудников, перешедших этот роковой рубеж (а черту подводят именно в этом возрасте), требуют, как это ни парадоксально, положительности, которая служит гарантией пунктуальности, здравомыслия, надежности, дисциплинированности. В области рекламы предприниматели не отказываются брать на работу тридцатипятилетних служащих, но не решаются оказать доверие тем, кто в тридцать лет еще никак «не закрепился». Держать тридцатилетних на временной работе тоже не хотят. Неустроенность не внушает доверия — в тридцать лет надо уже куда-то пристроиться, в противном случае ты — никто. А человека нельзя считать устроенным, если он еще не нашел своего места в жизни, не вырыл себе норы, никуда не прибился, не имеет собственных ключей, конторы и хотя бы самой малюсенькой вывески.

Жером и Сильвия часто задумывались над этим. У них впереди было еще несколько лет. Но они не были уверены, что им удастся сохранить надолго хотя бы тот сносный уровень жизни и тот относительный покой, которых они достигли сейчас. Почва будет постепенно ускользать у них из-под ног: не за что будет уцепиться. Работа не слишком их обременяла, у них был достаток, правда, год на год не приходился: иногда они зарабатывали больше, иногда меньше, но ра-

бота их сама по себе не была тяжелой. Однако так не могло долго продолжаться.

На должности простого интервьюера обычно долго не задерживаются. Едва начав, психосоциолог стремительно продвигается по служебной лестнице: делается помощником директора или даже главой агентства или подыскивает в каком-нибудь большом предприятии завидную должность заведующего кадрами, на обязанности которого лежит наем служащих и их инструктаж, составление социальных отчетов, руководство торговой политикой. Все это отличные должности: кабинеты устланы коврами, два телефона, диктофон, кое-где салонный холодильник, а иногда можно даже увидеть и картину кисти Бернара Бюффе на стене.

«Увы! — часто думали, а иногда и говорили друг другу Жером и Сильвия. — Кто не работает, тот не ест — это точно, но тот, кто работает, перестает жить». Однажды, как им казалось, они в течение нескольких недель испытали это на себе. Сильвия поступила документалисткой в одно из экспериментальных бюро, а Жером составлял и сводил воедино опросные листы. Условия работы были более чем приятными: они могли приходить когда им вздумается, просматривать газеты на работе, отлучаться на сколько угодно, чтобы выпить пива или кофе. Кроме всего прочего, они даже испытывали к этой работе, которую выполняли спустя рукава, известный интерес, подогреваемый к тому же весьма, впрочем, неопределенными обещаниями быстрого повышения, солидного положения, официально оформленного и выгодного договора. Но они недолго продержались. Им тяжело было просыпаться в определенное время, их раздражала необходимость возвращаться вечером

в переполненном метро; усталые и грязные, в изнеможении падали они на свой диван и мечтали лишь о длинных уикендах, свободных днях, позднем вставании.

Они чувствовали себя загнанными, попавшими в капкан, как крысы. И не могли с этим примириться. Они еще надеялись, что в жизни их ждет много интересного, поэтому самый график их работы, однообразное чередование дней и недель представлялись им путами, которые они, не колеблясь, называли адскими. А ведь с любой точки зрения это было началом блестящей карьеры: прекрасное будущее открывалось перед ними, они стояли на пороге того торжественного момента, когда патрон, уверившись в достоинствах молодого человека, поздравляет себя in petto * с удачей, торопится помочь ему сформироваться, преобразует его по своему образу и подобию, приглашает отобедать, хлопает его по плечу и одним жестом распахивает перед ним врата фортуны.

Они были просто идиотами! Сколько раз твердили они себе, что это идиотизм, что они не правы, что в конце-то концов они не умнее других, тех, кто надрывается и карабкается наверх, но они так любили дни, когда можно не ходить на работу и, поздно проснувшись, подолгу валяться в постели, читая детективные или научно-фантастические романы. Им так нравились ночные прогулки вдоль набережных и почти головокружительное ощущение свободы, которое они порой испытывали, чувство праздничного освобождения после каждой поездки по провинции!

Они, несомненно, понимали, что обманывают себя, знали, что их свобода — лишь наживка на удоч-

---

* В душе (латин.).

ке. Ведь вся их жизнь была постоянными и ожесточенными поисками работы; слишком часто обанкрочивались или сливались с другими, более крупными, агентства, на которые они работали. К концу недели им почти всегда приходилось вести счет сигаретам, рыскать по городу, напрашиваясь к кому-нибудь на обед.

Они влачили самое банальное и самое пошлое существование, какое только можно себе представить. Но хоть они и знали, что поступают банально и глупо, они не могли поступать иначе, и хотя они давно уже твердили, что противоречие между трудом и свободой теперь не является обязательным, жили они именно под знаком этого противоречия.

Люди, которые решают сначала заработать деньги, а осуществление мечты откладывают на то время, когда они разбогатеют, не так уж не правы. Тот же, кто хочет лишь прожигать жизнь, кто называет жизнью только неограниченную свободу, только погоню за счастьем, только немедленное удовлетворение всех своих желаний и инстинктов, только наслаждение бесчисленными богатствами мира — а Жером и Сильвия наметили себе именно такую жизненную программу, — тот будет всегда несчастлив. Правда, они понимали, что встречаются люди, для которых не существует или почти не существует подобных дилемм, потому ли, что они чересчур бедны и все их стремления сводятся к тому, как бы сытнее поесть, получить чуть-чуть лучшее жилье, немножко меньше работать, или же, наоборот, потому что люди эти слишком богаты, причем богаты искони, чтобы понять размер и значение подобных стремлений. Но в наши

дни и в наших условиях все больше и больше становится людей ни бедных, ни богатых: они мечтают о богатстве и вполне могли бы разбогатеть, но вот тут-то и начинается их драма.

Получив высшее образование и доблестно исполнив свой воинский долг, молодой человек к двадцати пяти годам обнаруживает, что он беспомощен как новорожденный, хотя на самом деле он благодаря приобретенным им знаниям является в потенции обладателем такого богатства, о котором и не мечтал. То есть он вполне уверен, что настанет день, когда он приобретет квартиру, дачку, машину, радиоприемник высшего качества с магнитофоном. Но вся беда в том, что эти вдохновляющие перспективы не спешат осуществиться. Ведь если как следует задуматься, в силу своей природы они находятся в зависимости от других процессов: брака, рождения детей, эволюции моральных ценностей, общественных взаимоотношений и человеческого поведения. Словом, молодому человеку нужно обосноваться, на что обычно уходит не меньше пятнадцати лет.

Подобная перспектива не очень-то радует. Никто не хочет лезть в это ярмо без сопротивления. «Нет, дудки, — думает едва оперившийся молодой человек, — чего ради буду я торчать день-деньской в этих стеклянных коробках, вместо того чтобы бродить по полям и лугам? Чего ради мне домогаться выдвижения, подсчитывать, интриговать, лезть из кожи вон — мне, который всегда мечтал о поэзии, ночных поездах, горячих песках пустыни? И в поисках утешения он лезет в ловушку, именуемую «Продажа в рассрочку». Ловушка захлопывается, и ему уже ничего не остается, как только запастись терпением. Но увы, когда, казалось бы, его затруднениям подой-

дет конец, молодой человек уже будет далеко не молод, и что хуже всего — ему может даже показаться, что жизнь уже прожита и все его усилия были тщетными, а цель все равно не достигнута; даже если умудренный тяжелым восхождением, он и поостережется думать об этом, все равно ему уже стукнет сорок и оборудование зимней и летней его резиденций, а также воспитание детей заполнят целиком те немногие часы, которые он сможет урвать от работы...

Жером и Сильвия решили, что нетерпение — добродетель двадцатого века. В двадцать лет, когда они увидели или, как им показалось, увидели, какой может стать их жизнь, когда оценили всю сумму счастья, которую она несет, все победы, которые их ждут, и так далее, они уже поняли, что у них не хватит сил терпеть. Они могли по примеру других постепенно достигнуть всего, но их интересовал не процесс, а результат. Именно это свойство приобщало их к разряду людей, которых принято именовать интеллигентами.

Но все вокруг — и прежде всего сама жизнь — обманывало их надежды. Они хотели наслаждаться всеми благами жизни, но повсюду вокруг них такое наслаждение шло рука об руку со стяжательством. Они желали оставаться свободными и жить с чистой совестью, но годы уходили, ничего им не принося. Другие, может, и закованные в цепи, все же продвигались вперед, а они топтались на одном месте. Другие кончали тем, что видели в богатстве только цель, они же попросту оставались бедняками.

Они утешали себя мыслью, что все же они не са-

мые несчастливые. И возможно, тут они не ошибались. Однако современная жизнь подчеркивала их неудачи, в то время как неудачи других — тех, что стояли на верном пути, — она сглаживала. Они ничего собой не представляли — крохоборы, мелкие бунтовщики, лунатики. Правда, в каком-то смысле время работало и на них: у них было восторженное представление о возможном для них будущем, и это служило им пусть жалким, а все же утешением.

Они работали так, как другие учатся, сами составляя себе расписание. Они бездельничали так, как одни только студенты могут себе позволить.

Но беды подкарауливали их со всех сторон. Им так хотелось жить счастливо, но их счастье постоянно стояло под угрозой. Они еще были молоды, но время мчалось быстро. Вечный студент — зловещее явление: неудачник, никчемный человек и даже того хуже. Их начинал охватывать страх.

У них было свободное время, но оно оборачивалось против них. Ведь надо было регулярно оплачивать газ, электричество, телефон. Каждый день надо есть. Одеваться, производить ремонт квартиры, менять белье, отдавать его в стирку, рубашки — в глажку, покупать обувь, ездить в поездах, покупать мебель.

Порой экономические проблемы пожирали их целиком. Они непрерывно думали о деньгах. Даже их взаимоотношения в значительной степени зависели от этого. Получалось так, что их любовь расцветала, а счастью, казалось, не было предела, как только у них появлялся достаток или хотя бы самая небольшая надежда на него. Тогда их вкусы, фантазии, открытия, аппетиты совпадали. Но это происходило редко, чаще им приходилось жестоко бороться с нуж-

дой, и зачастую при первых же признаках нехватки денег они кидались друг на друга, ссорились они по любому пустяку: из-за растраченной сотни франков, из-за пары чулок, из-за невымытой посуды. Тогда наступали долгие часы, а то и дни, когда они переставали разговаривать. Сидя друг против друга, они, даже взглядом не обменявшись, торопливо и сосредоточенно ели. Потом каждый забивался в свой угол дивана, стараясь повернуться спиной к другому. Оба могли бесконечно раскладывать пасьянс.

Между ними вставали деньги. Деньги создавали стену, некую преграду, на которую они непрерывно натыкались. Стесненность, скупость, ограниченность были хуже нищеты. Они жили в замкнутом мирке своей замкнутой жизни, без будущего, без каких-либо надежд, кроме как на несбыточное чудо, в идиотских неосуществимых мечтаниях. Они задыхались. Чувствовали, что опускаются на дно.

Конечно, они могли бы поговорить о чем-нибудь другом: о только что появившейся книге, о новом режиссере, о войне и так далее, но им все чаще казалось, что по-настоящему им интересно говорить лишь о деньгах и комфорте, которые единственно способны дать счастье. Тут они воодушевлялись и даже приходили в возбуждение. Но, заговорив об этом, они вскоре понимали всю свою беспомощность, непригодность, тщету всех своих усилий. Тогда они еще больше озлоблялись — это слишком близко их касалось, — и каждый втайне считал другого причиной своего несчастья. Они строили всяческие проекты: отдыха, путешествий, переезда в другую квартиру и тут же яростно их опрокидывали: им вдруг начинало ка-

заться, что в этих разговорах с особой остротой обнажается вся бесплодность и бессмысленность их жизни. Тогда они умолкали, но их молчание было полно затаенной обиды: они были злы на жизнь, а иногда, поддаваясь слабости, злились друг на друга. Они припоминали брошенную учебу, бессмысленное бездельничанье, всю ничтожную свою жизнь в захламленной квартирке, все свои невыполнимые мечты. Они находили друг друга уродливыми, плохо одетыми, насупленными, лишенными какого бы то ни было обаяния. А рядом по улицам бесшумно скользили машины. На площадях непрестанно вспыхивали неоновые рекламы. На террасах кафе сидели люди, похожие на самодовольных рыб. Они начинали ненавидеть весь мир. Еле волоча ноги, шли пешком домой. Не говоря ни слова, укладывались спать.

При малейшей случайности все могло пойти прахом — вдруг закроется дававшее им работу агентство, или их посчитают там устаревшими, или чересчур небрежными в работе, или, наконец, кто-нибудь из них заболеет. Впереди не было ничего, но и позади тоже. Подобные невеселые мысли все чаще и чаще приходили им в голову. Но не думать об этом они не могли. Им мерещилось, что они долгие месяцы сидят без работы и, чтобы выжить, берутся за любую работу — случайную, жалкую, выклянченную. Тогда их охватывала безысходная тоска: они начинали мечтать о штатном месте, организованном дне, определенном служебном положении. Но эти запоздалые стремления лишь усугубляли их отчаяние: они уже не могли представить себя в образе людей преуспевающих и оседлых; они решали, что ненавидят любые

иерархии и что разрешение всех их трудностей произойдет если не чудом, то само собой, в ходе мировой истории. Они продолжали вести ту беспорядочную жизнь, которая соответствовала их природным склонностям. Им без труда удавалось убедить себя, что в нашем несовершенном мире их образ жизни еще не самый плохой. Они жили сегодняшним днем: растранжиривали за полдня то, что зарабатывали за три; часто им приходилось занимать деньги, довольствоваться жареной картошкой, вдвоем выкуривать последнюю сигарету, иногда часа по два тратить на поиски затерявшегося билета метро, носить чиненые сорочки, слушать заигранные пластинки, путешествовать автостопом и ко всему этому иногда по месяцу не иметь возможности сменить постельное белье. И в конце концов они начали считать, что такая жизнь не лишена своеобразного очарования.

Предаваясь вместе воспоминаниям, обсуждая свой образ жизни и свои планы на будущее и с упоением предаваясь мечтам о лучших временах, они иногда признавались себе не без меланхолии, что им многое еще не ясно в жизни. Они взирали на мир затуманенными глазами, и ясность мысли, которой они похвалялись, на деле часто оборачивалась колебаниями и нерешительностью, приспособленчеством и отсутствием определенной точки зрения, что сводило на нет и даже совершенно обесценивало те добрые порывы, которые у них, бесспорно, были.

Им казалось, что таков уж их путь, вернее — отсутствие пути, что было для них очень характерно, и не только для них, но и для всех их сверстников. Они рассуждали так: конечно, предыдущие поколения

имели более четкое представление о самих себе и о мире, в котором они жили. Они, пожалуй, предпочли бы быть двадцатилетними во время войны в Испании или во время Сопротивления; во всяком случае, они любили об этом поговорить; они считали, что те проблемы, которые стояли или, по крайней мере, как им казалось, должны были стоять в те времена, были более определенными хотя бы потому, что их решение было насущно необходимо; для них же все проблемы оборачивались западней.

В этой тоске по прошлому была и доля лицемерия — ведь война в Алжире началась в их время и продолжалась на их глазах. Однако она не слишком задевала их: иногда они кое-что предпринимали, но очень редко чувствовали себя обязанными действовать. Долгое время им просто не приходило в голову, что эта война перевернет всю их жизнь, их взгляды, их будущее. В студенческие годы они до какой-то степени принимали участие в общественной жизни: чуть ли не с восторгом ходили на митинги и уличные демонстрации, которыми были отмечены начало войны, призыв резервистов и прежде всего победа голлизма. Тогда, при всей их ограниченности, реакция на события была у них мгновенной. Да и можно ли их упрекать, если учесть, как сложились обстоятельства: война продолжалась, голлизм восторжествовал, и, кроме того, Жером и Сильвия оставили университет. Среди лиц, занимающихся рекламой и, как это ни парадоксально, обычно причисляемых к левым кругам, хотя точнее было бы назвать этих деятелей с их культом наивысшей эффективности, наиновейшей современности, с их вкусом к теоретизированию и несколько демагогической тенденцией к социологии технократами, — так вот, среди этих деятелей было

широко распространено мнение, будто девять десятых человечества — полные кретины, годные лишь на стадное восхищение чем и кем угодно, и считалось хорошим тоном презирать политические проблемы сегодняшнего дня и измерять историю лишь масштабами века. Кроме того, оказалось, что голлизм разрешил многие проблемы куда динамичнее, чем это предполагалось раньше, а опасность всякий раз была не там, где ее искали.

Война, однако, продолжалась, и, хотя Сильвии и Жерому она казалась чем-то эпизодическим, чуть ли не второстепенным, совесть у них была неспокойна. Но ответственными за нее они себя ни в коей мере не чувствовали, разве что вспоминали, как они прежде чуть ли не по привычке, повинуясь моральному долгу, участвовали в демонстрациях протеста. По теперешнему своему безразличию они могли бы судить, сколько честолюбия, а может, и слабохарактерности было во всех их поступках. Однако им это в голову не приходило. С изумлением они обнаружили, что некоторые их старые друзья оказывают поддержку Фронту национального освобождения: одни робко, другие в открытую. Им этот порыв был непонятен, если бы они могли объяснить его романтическими причинами, это позабавило бы их; политическое же толкование было им не по плечу. Сами они решили для себя вопрос куда проще: Жером в компании с тремя приятелями вовремя заручился солидной поддержкой и соответствующими справками, благодаря чему сумел освободиться от воинской повинности.

И все же именно война в Алжире, и только она одна, почти целых два года спасала их от самих себя.

Ведь без нее они скорее ощутили бы себя состарившимися и несчастными. Ни решимость, ни воля, ни юмор, которым они как-никак обладали, не помогли бы им так хорошо уйти от мыслей о будущем, которое рисовалось им в столь мрачных красках. События 1961 и 1962 годов, путч в Алжире, убийство демонстрантов у станции метро Шарон * ознаменовали собой конец войны и заставили Жерома и Сильвию если не совсем забыть свои повседневные заботы, то, во всяком случае, на какое-то время отодвинуть их на задний план. То, что происходило на их глазах и угрожало им теперь каждый день, было страшнее самых пессимистических их прогнозов — страха перед нищетой, боязни опуститься на дно и уже никогда не выбраться на поверхность.

Это было мрачное и жестокое время. Хозяйки стояли в очередях за килограммом сахару, за бутылкой масла, банкой консервированного тунца, за кофе, за сгущенным молоком. По Севастопольскому бульвару медленно шествовали отряды вооруженных карабинами жандармов в касках, черных кожаных куртках и шнурованных сапогах.

Сильвии, Жерому и многим их друзьям мерещились всякие ужасы только потому, что у заднего стекла их машин завалялись старые номера газет: «Монд», «Либерасьон», «Франс обсерватер», которые, по их мнению, особо подозрительным умам могли показаться деморализующими, подрывными или попросту либеральными; от страха им казалось, что за ними следят, расставляют им ловушки, подслушивают, записывают номер их машины; нечаянно свернув в тем-

---

* Разгоняя демонстрацию, призывавшую к миру в Алжире, полиция убила у станции метро Шарон восемь человек.

ную улицу какого-нибудь квартала с плохой репутацией, они обливались холодным потом, воображая, как пьяные легионеры топчут на мокрой мостовой их бездыханные тела.

Мученичество вторглось в их повседневную жизнь и стало навязчивой идеей не только для них, но, как им казалось, для всего их окружения; оно придавало особую окраску всем их привычным представлениям, всем событиям, всем мыслям. Картины кровопролитий, взрывов, насилия, агрессии преследовали их неотступно. Иногда им казалось, что они уже приготовились ко всему самому худшему, но назавтра положение дел еще ухудшалось. Они мечтали эмигрировать, очутиться среди мирных полей, мечтали о продолжительном морском путешествии. Они с удовольствием переселились бы в Англию, где полиция слыла гуманной и вроде бы уважала человеческую личность. В течение всей зимы, по мере того как дело медленно двигалось к прекращению огня, они предавались мечтам о приближающейся весне, о предстоящем отпуске, о будущем годе, когда согласно обещаниям газет утихнет братоубийственная война и станет вновь возможным со спокойным сердцем бродить по ночам, радуясь тому, что они живы и здоровы.

Под нажимом событий им пришлось обзавестись хоть какой-то точкой зрения. Конечно, их участие в происходившем было поверхностным, они ни разу не были по-настоящему захвачены событиями, они полагали, что их политические взгляды (если применительно к ним можно говорить о взглядах как о плоде серьезных раздумий, а не как о мешанине разношерстных представлений) ставили их над алжирской проблемой — за ее пределами: их интересы ограничивались скорее утопическими, чем ре-

альными проблемами, общими рассуждениями, которые не вели ни к чему конкретному. Тем не менее они вступили в антифашистский комитет, который был создан в их квартале. Иногда им приходилось подниматься в пять часов утра, чтобы с тремя четырьмя активистами идти расклеивать плакаты, некоторые призывали к бдительности, клеймили преступников и их сообщников, оплакивали жертвы террора. Они разносили обращения комитета во все дома своей улицы; несколько раз пикетировали у квартир, над которыми нависла угроза.

Они приняли участие в нескольких манифестациях. В те дни автобусы ходили без всякого расписания, кафе рано закрывались, люди торопились вернуться домой. Весь тот день они тряслись от страха. Вышли из дому неохотно. Дело происходило в пять часов, шел мелкий дождь. С вымученной улыбкой поглядывали они на других манифестантов, отыскивали среди них друзей, пытались заговорить о посторонних вещах. Колонна сформировалась, двинулась, поколыхалась и остановилась. Приподнявшись на цыпочки, они увидели мокрый унылый асфальт и черную густую шеренгу полицейских вдоль всего бульвара. Вдалеке сновали темно-синие машины с зарешеченными окнами. Они топтались на месте, держась за руки и обливаясь холодным потом, с трудом решались что-то выкрикнуть и удирали при первом же сигнале отбоя.

Не так уж это было много. И они первые это понимали и, стоя в толпе, спрашивали себя подчас: как они очутились тут, на таком лютом холодище, да еще под дождем, в самых мрачных кварталах Бастилии, Насьон, Отель де Виль? Им очень хотелось, чтобы произошло нечто такое, что доказало

бы им важность, необходимость и незаменимость их поступков, хотелось почувствовать, что их робкие усилия имеют какой-то смысл и значение, что благодаря им они сумеют познать самих себя, переродиться, начать жить. Но нет, их подлинная жизнь была в другом. Она еще начнется в ближайшем или отдаленном будущем, тоже полном угроз, но угроз более коварных и скрытых, будущем, полном невидимых ловушек и заколдованных тенет.

Покушение в Исси-ле-Мулино и последовавшая за ним короткая демонстрация положили конец боевой деятельности Жерома и Сильвии. Антифашистский комитет их квартала собрался еще раз и принял решение усилить свою активность. Но приближались летние отпуска, и даже самая примитивная бдительность уже казалась Жерому и Сильвии лишенной смысла.

Они не сумели бы точно определить, что изменилось с концом войны. Долгое время им казалось, что единственно ощутимым результатом явилось для них сознание завершенности, итога, конца. Не «happy end'a», не театрального счастливого конца, а напротив, конца затяжного и печального, оставившего ощущение опустошенности и горечи, тонущее в потоке воспоминаний. Время прошло, ускользнуло, канула в Лету целая эпоха; наступил мир, мир, которого они еще не знали, — мир после войны. Семь лет единым махом отошли в прошлое: их студенческие годы, годы их встреч — лучшие годы жизни.

Может быть, ничего и не изменилось. Иногда они подходили к окнам, глядели во двор, на палисаднички, на каштан, слушали пение птиц. Появились новые книги, новые пластинки громоздились на шатких этажерках. Алмазная игла в их проигрывателе истончилась.

Работа у них была все та же, что и три года назад: они повторяли все те же вопросы: «Как вы бреетесь? Чистите ли вы обувь?» Они смотрели и заново пересматривали фильмы. Немного попутешествовали, нашли новые рестораны. Купили новые рубашки и обувь, свитера и юбки, тарелки, простыни, безделушки.

Но все новое в их жизни было крайне несущественным и незначительным, и к тому же все это было неразрывно связано только с их жизнью и их мечтами. Они устали. Они постарели, да, постарели. И все же иногда им казалось, что они не начинали еще жить. Та жизнь, которую они вели, все больше и больше казалась им бренной, эфемерной; они чувствовали, что силы их иссякают в бесконечном ожидании, что нужда, мизерность и скудость жизни подтачивают их; им даже думалось порой, что иначе и быть не может — таков уж их удел: неосуществленные желания, неполноценные радости, попусту растраченное время.

Иногда им хотелось, чтобы все оставалось как есть без перемен. Тогда им надо будет всего лишь плыть по течению. Жизнь убаюкает их. Месяцы будут тянуться ровной чередой, складываясь без перемен в блаженные годы, — ни к чему их не побуждая. Никакие потрясения, никакие трагические происшествия не в силах будут нарушить гармоническое чередование их дней и ночей, с почти неуловимыми модуля-

циями, с бесконечным возвратом все к тем же темам. Их счастью не будет границ.

А иногда им казалось, что дальше так не может продолжаться. Они жаждали вступить в бой и победить. Они хотели сражаться и завоевать свое счастье. Но как сражаться? Против кого? Против чего? Они жили в странном, неустойчивом мире, бывшем отражением меркантильной цивилизации, повсюду расставившей тюрьмы изобилия и заманчивые ловушки счастья.

В чем же была опасность? Что им угрожало? Миллионы людей в прошлом боролись, да и сейчас еще продолжают бороться за хлеб насущный. Но Жером и Сильвия не представляли себе, что можно бороться во имя обладания диванами Честерфилд. И тем не менее это был именно тот лозунг, который легче всего их мобилизовал. Всякие программы и планы были не для них: они подтрунивали над требованиями более ранней пенсии, более долгих отпусков, бесплатных завтраков, тридцатичасовой рабочей недели. Они жаждали сверхизобилия, они мечтали о несметных сокровищах, пустынных пляжах для них одних, кругосветных путешествиях, дворцах.

Враг был невидим. Вернее, он был в них самих, он их разложил, заживо сгноил, опустошил. В жизненном фарсе они играли роль дураков. Мелкотравчатые душонки, рабски отражающие тот самый мир, который они столь презирали. Они по уши завязли в том пироге, от которого могли рассчитывать на одни объедки.

Сначала переживаемые ими кризисы лишь ненадолго омрачали их. Они еще не казались им фатальными, не

наносили непоправимого ущерба. Часто они твердили себе, что их спасение в дружбе. Сплоченность их кружка являлась неизменной точкой опоры, верной гарантией, силой, на которую они могли твердо рассчитывать. Они были убеждены в своей правоте, потому что знали, что они не одиноки. Больше всего они любили собираться вместе в конце месяца, когда им приходилось довольно-таки туго; садились за стол вокруг кастрюли с вареной картошкой, приправленной салом, и делили по-братски последние сигареты.

Но дружба тоже распадалась. Иными вечерами пары, собравшиеся в одной из квартир, начинали подпускать друг другу шпильки, затевали ссоры. В такие вечера им становилось ясно, что их прекрасная дружба, совместно придуманные словечки, понятные лишь им одним шуточки, общность интересов, общий язык, общие привычки, перенимаемые друг у друга, решительно ничего не стоят: это был узкий, затхлый мирок, и не было из него никакого выхода. Их жизнь не была победным шествием, а была угасанием, распадом. Они понимали, что им не преодолеть силы привычки и инерции. Они так скучали вместе, как будто между ними никогда не было ничего, кроме пустоты. Долгое время словесные перепалки, попойки, пикники, пирушки, жаркие споры по поводу какого-нибудь фильма, проекты, анекдоты заменяли им участие в событиях, настоящую жизнь, правду. Но за громкими фразами, за тысячу раз повторенными, пустыми, ничего не значащими словами, за никчемными поступками, за тысячами рукопожатий стояла лишь рутина, уже бессильная защитить от самих себя.

Они тратили битый час на то, чтобы договориться, какой фильм пойти посмотреть вместе. Они спорили — лишь бы не молчать, играли в загадки или в ки-

тайские тени. Оставшись наедине, каждая пара с горечью говорила о других, а иногда и о самих себе; они с тоской вспоминали ушедшую молодость; вспоминали, какими они были тогда непосредственными, восторженными, какие замечательные планы они строили, как многого они хотели добиться в жизни. Они мечтали о новой дружбе, но даже вообразить ее могли с большим трудом.

Их группа медленно, но неуклонно распадалась. Всего за каких-то несколько недель стало совершенно ясно, что прежние отношения невозможны. Чересчур сильна была усталость, чересчур большие требования предъявляла окружающая действительность. Те, кто до сих пор обитал в каморках без водопровода, завтракали четвертушкой батона, жили как бог на душу положит, едва сводя концы с концами, в один прекрасный день пускали корни; как-то незаметно они вдруг соблазнялись постоянной работой, солидным положением, премиями, двойными окладами.

Один за другим почти все их друзья не устояли перед соблазном. Жизнь без причала сменилась для них спокойной гаванью. «Мы уже не можем, — говорили они, — жить по-прежнему». И это «по-прежнему» было весьма емким, здесь соединялось все: и разгульная жизнь, и бессонные ночи, и картошка, и поношенная одежда, и случайная работа, и метро.

Мало-помалу, еще не отдавая себе в этом отчета, Жером и Сильвия очутились в одиночестве. Дружба возможна лишь тогда, думали они, когда люди идут рука об руку и живут одной жизнью. А если одна пара внезапно начинает зарабатывать столько, сколько другой представляется целым состоянием или, во

всяком случае, основой будущего состояния, а эта другая предпочитает сохранить свою свободу, — тут образуются два противостоящих мира. Теперь в их отношениях наступила пора не временных размолвок, а разрывов, глубокого раскола, ран, которые не могут затянуться сами собой. Они стали подозрительны друг к другу, что несколькими месяцами раньше было бы совершенно невозможно. Разговаривая, они еле цедили слова, казалось, вот-вот посыплются оскорбления.

Жером и Сильвия ожесточились, стали несправедливы. Они заговорили о предательстве, об отступничестве. Им доставляло удовольствие наблюдать за чудовищными переменами, которые, как им казалось, неизбежно происходят с людьми, если те всем жертвуют во имя денег, и которых, думали они, им самим удастся избежать. Они видели, как их бывшие друзья без особых усилий отлично устраиваются, подыскав себе подходящие места в незыблемой иерархии того дряхлого мира, который они предпочли и которому принадлежали теперь безвозвратно. Они видели, как те опошлялись, приспосабливались, включались в погоню за властью, влиянием, высоким положением. Им казалось, что на примере своих бывших друзей они постигают мир, противоположный их собственному; мир, признающий лишь деньги, работу, рекламу, компетентность; мир, ценящий только деловых людей и отшвыривающий таких, как они; мир, привлекающий серьезных людей, — словом, мир власть имущих. Жером и Сильвия недалеки были от умозаключения, что их старых друзей сожрут с потрохами.

Они не презирали деньги. Наоборот, возможно даже, что они их слишком любили; им, пожалуй, по-

нравилось бы прочное положение, обеспечивавшее уверенность в завтрашнем дне и широкую дорогу в будущее. Они пристально высматривали, за что бы зацепиться, — им так хотелось разбогатеть. И если они еще отказывались от постоянной работы, то лишь потому, что они мечтали не о солидном жалованье: их воображение, весь образ их мышления допускал лишь мечты о миллионах. Прогуливаясь вечерами, они заглядывались на витрины, принюхивались, откуда ветер дует. Никогда они не гуляли по самому близкому к ним Тринадцатому округу, из которого знали одну лишь улицу Гобелен, да и то лишь потому, что на ней находятся четыре кинематографа, избегали мрачную улицу Кювье, которая вела к еще более мрачным задворкам Аустерлицкого вокзала, и шли почти неизменно на улицу Монж, потом на Университетскую, добредали до Сен-Мишель и Сен-Жермен, а потом, в зависимости от времени года и настроения, шли к Пале-Роялю, Опере или вокзалу Монпарнас, на улицу Вавен, улицу д'Асса, в Сен-Сюльпис и Люксембургский сад. Шли они всегда медленно. Останавливались перед всеми витринами антикварных магазинов, впиваясь глазами в их темную глубину, стараясь разглядеть сквозь решетку красноватый отблеск кожаного дивана, лиственный орнамент на фаянсовой тарелке или блюде, игру граненого хрусталя, медный подсвечник, изящный изгиб плетеного стула.

Так и проходили они от антикварной лавки к книжной, от магазина пластинок к меню, вывешенным у дверей ресторанов, к агентству путешествий, к специализированным магазинам, торгующим рубашками, костюмами, сырами, обувью, к роскошным гастрономическим, кондитерским и писчебумажным магазинам — там был их мир, там сосредоточены были их

подлинные интересы, и только к этому устремлялись их честолюбивые мечты и надежды. Там была для них настоящая жизнь, та жизнь, которую им хотелось вести: именно для обладания этими коврами, этой лососиной, этим хрусталем были они произведены на свет двадцать пять лет тому назад своими матерями, одна из которых была конторщицей, другая парикмахершей.

Назавтра, когда жизнь вновь принималась толочь их в своей ступе, когда они вновь оказывались пешками, мельчайшими колесиками в огромной машине рекламного дела, перед ними, словно в тумане, все еще маячили чудеса, открытые во время лихорадочного ночного бдения. Они подсаживались к людям, которые верят фирменным маркам, рекламе, всем уверениям проспектов и которые с восторгом поедают сало дохлых быков, находя в нем и натуральный растительный вкус и аромат орехов (да ведь и сами они, едва ли отдавая себе в этом отчет, из странного опасения что-то упустить — разве не находили они прекрасными иные проспекты, потрясающими иные лозунги и гениальными иные рекламные фильмы?). Итак, они подсаживались к людям, включали свои магнитофоны, в должных местах хмыкали и, потаенно мечтая о своем, фабриковали интервью, подводили на скорую руку итоги опросов.

Как разбогатеть? Это была неразрешимая проблема. И, однако, каждый день отдельные люди великолепно решали ее для себя. Надо следовать их примеру, в них извечный залог интеллектуальной и моральной мощи Франции, у них веселые, решительные, лукавые и уверенные лица, от них так и пышет здо-

ровьем, твердостью, скромностью, они образцы святого терпения и умения управлять другими, теми, кто загнивает, топчется на месте, грызет удила и терпит поражение.

Жерому и Сильвии было известно, каким образом вознеслись эти баловни фортуны: аферисты, неподкупные инженеры, финансовые акулы, писатели, пишущие на потребителя, кругосветные путешественники, первооткрыватели, торговцы супами в пакетиках, строители пригородов, представители золотой молодежи, эстрадные певцы, золотоискатели, воротилы — мильонщики. Все их истории весьма просты. Они еще молоды и сохранили красоту, у них чарующий голос и ловкие руки, в глубине их глаз прячется жизненная умудренность, на висках — след тяжелых лет — седина, а открытая, приветливая улыбка обнажает длинные зубы.

Жером и Сильвия прекрасно видели себя в таких ролях. В ящике их письменного стола однажды окажется трехактная пьеса. В их саду вдруг забьет нефтяной фонтан или обнаружится уран. Они долго будут жить в нищете, нуждаться, испытывать неуверенность в завтрашнем дне, мечтать хоть разок проехаться в первом классе метро. И вдруг нежданно-негаданно, грубо, неистово, лавиной обрушится на них богатство! Примут написанную ими пьесу, откроют залежи их ума, признают их гениальность. Договоры посыплются как из рога изобилия, они будут раскуривать гаванские сигары тысячными банкнотами.

И все это произойдет самым обыкновенным утром. Под входную дверь им подсунут три длинных и узких конверта с импозантными, рельефно выгравированными штампами, с подписями значительными и

вескими, поставленными на директ
I. B. M.*. Когда они вскроют эти конверты, р
будут дрожать: там будут три чека с длинной вере-
ницей цифр. Или письмо:

«Сударь!

Господин Подевен, ваш дядя скончался ab inte-
stat**».

И они, глазам не веря, проведут рукой по лицу, думая, что они все еще грезят. Откроют настежь окно.

Так мечтали эти счастливые дурачки о наследствах, крупных выигрышах, принятых пьесах. Они сорвут банк в Монте-Карло; в пустом вагоне найдут забытую в сетке сумку, а в ней кучу крупных купюр; в дюжине устриц — жемчужное колье. А не то отыщут парочку кресел Буля у какого-нибудь неграмотного крестьянина из Пуату.

Их охватывали неистовые порывы. Иногда целыми часами, а то и днями они исступленно жаждали разбогатеть — немедленно, баснословно, навсегда, и не в силах были избавиться от этого наваждения. Эта навязчивая идея, как и всякий недуг, угнетала их, стояла за каждым их поступком. Мечты о богатстве становились для них опиумом. Они пьянили их. Жером и Сильвия безудержно отдавались во власть своих бредовых фантазий. Где бы они ни были, они думали

---

* I. B. M. — известная американская фирма, производящая электронные счетные машины.

** Скоропостижно (латин.).

лишь о деньгах. В кошмарных снах им мерещились миллионы, драгоценности.

Они посещали большие распродажи в особняках Друо и Галлиера. Они затесывались в толпу господ, которые с каталогом в руках осматривали картины. Видели, как расходятся по рукам пастели Дега, редкие марки, нелепые изделия из золота, первые издания Лафонтена или Крейбийона в роскошных переплетах Ледерера, восхитительная мебель мастерской Клода Сенэ или Эхленберга, золотые табакерки с эмалью. Аукционист показывал их собравшимся: кое-кто с видом знатоков подходил осмотреть их вблизи, по залу пробегал шепот. Начинались торги. Цены взлетали. Потом падал молоток, и этим все кончалось: предмет исчезал, пять-десять миллионов проскальзывало мимо их рук.

Иногда они шли следом за покупателями; эти счастливые смертные чаще всего оказывались чьими-то доверенными лицами, служащими антикваров, личными секретарями или подставными лицами. Они шли за ними до чопорных домов на Освальдо-Крус, бульваре Бо-Сежур, улице Масперо, улице Спонтини, Вилле-Саид, авеню Руль. За решетками и живыми изгородями из кустов самшита виднелись усыпанные гравием дорожки, а небрежно задернутые занавеси позволяли заглянуть в просторные комнаты, в полумраке которых виднелись смутные контуры диванов и кресел, неясное пятно картины кого-нибудь из импрессионистов. Они поворачивали обратно, задумчивые, раздраженные.

Как-то они даже замыслили кражу. Они долго фантазировали, как, одевшись во все черное, с крошечным электрическим фонариком в руках, с отмычкой

и алмазом для резки стекол в кармане проникнут ночью в какой-нибудь особняк, проберутся в подвалы, взломают дверь служебного лифта и проникнут на кухню. Это будет дом какого-нибудь иностранного дипломата или нечестным путем разбогатевшего финансиста, обладающего, однако, безупречным вкусом, хоть и дилетанта, но тонкого ценителя. Они изучат все входы и выходы. Будут точно знать, где находится маленькая мадонна двенадцатого века, овальное панно Себастьяна дель Пьомбо, акварель Фрагонара, два маленьких Ренуара, маленький Буден, Атлан, Макс Эрнст, де Сталь, коллекция монет, музыкальные шкатулки, бонбоньерки, серебро, дельфтский фаянс. Все их движения будут точными и решительными, как если бы они тренировались бесчисленное множество раз. Уверенные в себе, в своем успехе, невозмутимые, флегматичные Арсены Люпены современности, они будут действовать медленно, без спешки. Ни один мускул не дрогнет на их лице. Один за другим они вскроют все шкафы, одну за другой снимут со стен картины и вынут их из рам.

Внизу их будет ждать машина. Они заправят ее еще накануне. Заграничными паспортами они тоже запасутся заблаговременно. Свой отъезд они подготовят исподволь. Чемоданы будут ждать их в Брюсселе. Они направятся в Бельгию, беспрепятственно пересекут границу. Потом потихонечку, не торопясь, распродадут свою добычу в Люксембурге, Антверпене, Амстердаме, Лондоне, Соединенных Штатах, Южной Америке. Объедут вокруг света. Будут долго странствовать, пока не надоест. Наконец, осядут в какой-нибудь стране с приятным климатом. Где-нибудь на берегу итальянских озер, в Дубровнике, на Болеарах,

в Чефалу, купят огромный дом из белого камня, затерянный в глубине парка.

Ничего этого они, конечно, не осуществили. Даже не купили ни одного билета Национальной лотереи. Самое большое, что они сделали, — это пустились в картежную игру; они открыли для себя покер, и он на какое-то время скрепил их угасающую дружбу; играли они с остервенением, которое временами могло казаться даже подозрительным. Выдавались такие недели, когда, охваченные азартом, они несколько дней кряду до рассвета просиживали за игрой. Играли они по маленькой, до того маленькой, что они могли почувствовать лишь привкус риска, лишь иллюзию выигрыша. И все же, когда, имея на руках две жалкие пары или, больше того, не полный цвет, они разом выбрасывали на стол целую кучу фишек стоимостью не менее трехсот франков (старых) и срывали банк, выиграв шестьсот, а потом теряли этот выигрыш в три приема, затем возвращали обратно и даже прибавляли к нему еще столько же — тогда на их лицах появлялась торжествующая улыбка: они потягались с судьбой, их небольшой риск принес плоды — они воображали себя чуть ли не героями.

Обследуя сельское хозяйство, они объездили всю Францию. Они побывали в Лотарингии, Сентонже, Пикардии, Босе, Лимани. Навидались нотариусов старинного образца, оптовиков, чьи грузовики бороздят дороги доброй четверти Франции, преуспевающих промышленников, дворян-фермеров, вечно окруженных сворой рыжих псов и настороженных управляющих.

Хлебные амбары ломились от зерна: на обширных

мощеных дворах сверкающие тракторы стояли напротив дорогих хозяйских машин. Они проходили через столовые для рабочих, через гигантские кухни, где хлопотало по нескольку женщин, через гостиные с натертыми желтым воском полами (входить туда можно было лишь в фетровых шлепанцах), с огромным камином, телевизором, креслами, с ларями из светлого дуба, медной, оловянной, фаянсовой посудой. В конце узкого коридора, насквозь пропитанного запахами, находилась контора хозяина. Комната эта была до того загромождена, что казалась совсем маленькой. Рядом с телефоном старой конструкции, у которого надо было крутить ручку, на стене висел план работы фермы, на котором были указаны площади, отведенные под различные культуры как предстоящего, так и прежнего сева, а также всевозможные сметы и сроки платежей, — этот чертеж красноречиво свидетельствовал о рекордных прибылях. На столе, заваленном квитанциями, ведомостями, записными книжками и другими бумагами, лежал открытый на сегодняшнем числе, переплетенный в черный коленкор реестр, исписанный длинными колоннами цифр, свидетельствовавшими как о процветании, так и об образцовом учете: дипломы в рамках — быки, дойные коровы, свиньи соседствовали на стенах с кальками кадастра; тут был и перечень работников фермы и фотографии стад и птичников; цветные проспекты тракторов, молотилок, уборочных машин, сеялок.

Здесь они устанавливали свои магнитофоны. Приняв значительный вид, осведомлялись о месте сельского хозяйства в современной жизни, о противоречиях в сельском хозяйстве Франции, о фермерах будущего, об «Общем рынке», о правительственных

постановлениях по поводу зерновых и свеклы, о свободном содержании скота в стойлах и паритете цен. Но мысли их витали далеко. Им виделось, как они входят в пустынный дом. Поднимаются по навощенным ступеням, проникают в пропахшие затхлостью спальни с закрытыми ставнями. Под чехлами из сурового полотна стоит почтенная мебель. Они открывают шкафы трехметровой высоты с надушенным лавандой бельем, хрусталем, серебром.

В темноте чердаков они отыскивают немыслимые сокровища. В нескончаемых подвалах их поджидают огромные бочки и сосуды с вином, глиняные кувшины с маслом и медом, кадушки солений, окорока, копченные на дыму можжевельника, бочонки виноградной водки.

Они прохаживались по гулким прачечным, по дровяным и угольным сараям, по фруктохранилищам, где на бесконечных полках лежали рядами яблоки и груши, по молочным с кисловатым запахом, где громоздились победоносно увенчанные влажной печатью глыбы свежего масла, бидоны с молоком, крынки свежих сливок, творог, сыр канкойот.

Они ходили по стойлам, конюшням, мастерским, кузницам, сараям, хлебопекарням, где выпекались огромные буханки хлеба, элеваторам, забитым мешками, гаражам.

С высоты водонапорной башни они оглядывали всю ферму с огромным четырехугольным мощеным двором, с двумя стрельчатыми воротами, птичником, свинарником, огородом, виноградником и обсаженной платанами дорогой, которая вела к национальному шоссе, а вокруг простирались уходящие в бесконечность узкие, длинные полосы зерновых, высокие деревья, лесосеки, пастбища, черные прямые полосы

дорог, где порой поблескивают автомобильные стекла, извилистую линию тополей, вдоль зажатой в крутые берега, почти невидимой речки, теряющейся где-то за горизонтом, в туманных холмах.

Потом, тесня друг друга, всплывали другие миражи. Огромные рынки с нескончаемыми торговыми рядами, сногсшибательные рестораны. Все, что только едят и пьют, было здесь к их услугам. Тут громоздились ящики, плетенки, мешки, корзины, переполненные желтыми и красными яблоками, продолговатыми грушами, фиолетовым виноградом. Тут были прилавки, заваленные инжиром и манго, дынями и арбузами, лимонами, гранатами, мешки миндаля, орехов, фисташек, ящики с изюмом и коринкой, вяленые бананы, засахаренные фрукты, желтые, прозрачные сушеные финики.

А колбасные — словно храмы с тысячью колонн: там с потолка свисали в изобилии окорока и колбасы, образуя темные гроты, заполненные гусиными и свиными паштетами, кровяными колбасами, свернутыми кругами, словно корабельные снасти, бочонками квашеной капусты, лиловых оливок, соленых анчоусов и сладких маринованных огурцов.

Или по обеим сторонам прохода — двойная шпалера молочных поросят, кабаньи туши, подвешенные за ноги, освежеванные говяжьи туши, кролики, откормленные гуси, косули с остекленевшими глазами.

Они заходили в булочные, наполненные аппетитными запахами; в потрясающие кондитерские, где выстроились сотни тортов; в кухни, пышущие жаром, сверкающие тысячью медных кастрюль.

Они захлебывались изобилием. Воображение рисовало им колоссальные рынки. Перед ними маячил рай из окороков, сыров, напитков. Великолепно накрытые столы, белоснежные крахмальные скатерти, усыпанные цветами, разбросанными среди сверкающих бокалов и драгоценной посуды. На столах — десятки пирогов, паштетов, запеченных в тесте, и гусиных паштетов в горшочках, лососина, фаршированная щука, форель, омары, бараньи окорока, украшенные серебряными манжетками, зайцы и перепелки, дымящееся жаркое из кабана, сыры величиной с мельничный жернов, целая армия бутылок.

Возникали в мираже и локомотивы, тащившие вагоны жирных коров; выстраивались грузовики с блеющими овцами; пирамидами громоздились плетенки с лангустами. Миллионы хлебов появлялись из тысяч печей. Тонны кофе разгружались с кораблей.

А еще дальше — дойдя до этого видения, они прикрывали глаза — среди лесов и полян, вдоль рек, в оазисах пустыни или возвышаясь над морем, на широких площадях, мощенных мрамором, возникали города со стоэтажными небоскребами.

Они шли мимо фасадов из стали, редких древесных пород, стекла, мрамора. В центральном холле, вдоль стены из граненого хрусталя, которая излучала на город миллионы радуг, лился с пятидесятого этажа каскад воды, обрамленный головокружительными спиралями двух алюминиевых лестниц.

Лифты вздымали их вверх. Они шли по коридорам, украшенным орнаментом, всходили по хрустальным ступеням, шагали по залитым светом галереям с уходящими в бесконечность рядами статуй и цве-

тов, где по ложу из цветных камушков струились прозрачные ручейки.

Двери сами собой распахивались перед ними. Там были бассейны под открытым небом, внутренние дворики, читальные залы, молчаливые покои, театральные подмостки, вольеры, сады, аквариумы, крохотные музеи, собранные исключительно для их личного пользования, где на всех четырех стенах небольшого помещения со срезанными углами висело, например, по портрету фламандской школы. В одних залах были скалы, в других — джунгли, дальше бил морской прибой, еще дальше прогуливались павлины. С потолка круглого зала свисали тысячи знамен. Из нескончаемых лабиринтов доносилась пленительная музыка; одна из зал, причудливой формы, была сконструирована так, что откликалась на любой звук нескончаемым эхом, пол другой соответственно часу суток воспроизводил варьирующиеся схемы какой-то очень сложной игры.

В огромных подвалах работали покорные людской прихоти машины.

Они беззаветно предавались игре воображения, переходя от одного чуда к другому, от одного сюрприза к другому. Достаточно того, что они существуют, чтобы весь мир лег к их ногам. Их корабли, их поезда, их ракеты бороздили планету. Мир принадлежал им; это были их нивы, кишащие рыбой моря, горные вершины, пустыни, цветущие луга, пляжи, острова, деревья, сокровища, огромные фабрики, когда-то бывшие на поверхности, а теперь спрятанные под землю, где ткут для них прекрасную шерсть, роскошные шелка.

Они испытывали неисчислимые радости. Носились галопом на диких лошадях по бескрайним равнинам, заросшим непокорной высокой травой. Взбирались на самые высокие вершины. Катались на лыжах по крутым склонам, поросшим гигантскими соснами. Плавали в неподвижной воде озер. Гуляли под проливным дождем, вдыхая аромат мокрой травы. Грелись на солнце. Смотрели с горного хребта на долину, заросшую полевыми цветами. Бродили по нескончаемым лесам. Любили друг друга в полутемных комнатах, полных пушистых ковров и глубоких диванов.

Потом мечты их перескакивали на драгоценный фарфор, на украшения из перьев экзотических птиц; на книги, переплетенные в кожу, напечатанные эльзевиром на сделанной вручную японской бумаге, с широкими, необрезанными белыми полями, на которых отдыхает глаз; на столы красного дерева, на шелковые или льняные одежды, мягкие и удобные, радующие глаз игрой оттенков, на просторные, светлые комнаты, охапки цветов, бухарские ковры, прыгающих доберман-пинчеров.

Их тела, их движения были непередаваемо прекрасны, их взгляды безмятежно спокойны, сердца прозрачны, улыбки светлы.

В коротком апофеозе они видели воздвигнутые ими гигантские дворцы. На выровненных площадках взлетали миллионы фейерверков, и миллионы людей пели «Мессию». На колоссальных террасах духовые

оркестры в десять тысяч труб исполняли «Реквием» Верди. На склонах гор были высечены стихи. Пустыни покрылись садами. Города сплошь украсились фресками.

Сначала им казалось, что все эти сверкающие видения, которые обрушивались на них, проносились галопом перед их внутренним взором, текли нескончаемым бурным потоком, эти видения — головокружительные, стремительные, яркие — сменяют друг друга с какой-то удивительной последовательностью, подчиняясь некоей безбрежной гармонии; у них было такое ощущение, словно их восхищенному взору вдруг предстал совершенный пейзаж, поражающий своей победоносной законченностью, — весь мир, взаимосвязь явлений которого они смогли, наконец, понять и расшифровать. Им казалось поначалу, что их чувства обогащаются, расширяется их способность видеть и ощущать, а несказанное счастье сопутствует им неизменно, сопровождая каждое их движение, отмечая каждый их шаг, всю их жизнь; мир шел к ним, а они шли навстречу миру, вновь и вновь раскрывая его для себя. Вся их жизнь становилась любовью и опьянением. Их страсти не знали границ, их свобода ничем не стеснялась.

Но они задыхались под нагромождением мелочей. Видения заволакивались, путались, они могли ухватить лишь какие-то то и дело ускользавшие клочки — хрупкие, скудные, лишенные смысла. Это было уже не широкое полотно, а только разрозненные его фрагменты, не гармоничное единство, а судорожный распад; словно их видения были лишь далеким и замутненным отражением чего-то, иллюзорным жалким по-

добием вспышки, которая, едва возникнув, рассыпалась в прах, смехотворной проекцией самых несуразных их желаний, неосязаемым облаком пыли, лохмотьями жалкой роскоши их грез, которых им никогда не осуществить.

Им казалось, что они разгадали секрет счастья; им казалось, что их представление о счастье прекрасно, что с его помощью они познают ход мироздания. Им казалось, что стоит им лишь двинуться с места, как они само собой достигнут счастья. Но, пробудившись от грез, они оказывались все такими же одинокими, инертными, опустошенными. Серая, замерзшая равнина, бесплодная степь — никаких дворцов в оазисах пустынь, никаких эспланад на горизонте.

И от этих отчаянных поисков счастья, от чудесного ощущения, что на какое-то мгновение оно поймано, разгадано, из этих необыкновенных путешествий, когда, не сдвинувшись с места, ты завоевываешь мир, от этих новых горизонтов, предвосхищенных радостей, от всего, что в их невероятных мечтаниях могло быть осуществимо, от этого их жалкого, неловкого, путаного, но все же целенаправленного, устремленного к разгадке непознанного порыва не оставалось ничего, они открывали глаза, вновь слышали звук собственного голоса, смущенное бормотание собеседника, мурлыкающее урчание магнитофона, видели перед собой пять охотничьих ружей, выстроившихся в козлах, потемневшие их приклады и блестящие от смазки дула, а рядом с ними — разноцветную головоломку кадастра, в центре которой они без особого удивления обнаружили почти правильный четырехугольник фермы, серую каемку дороги, расположен-

ни пытались бежать.

Невозможно жить долгое время одними мечтами. Слишком напряженная жизнь в этом мире, который обещает золотые горы и ничего не дает. Их терпению пришел конец. И однажды они поняли, что им нужно убежище.

Их жизнь в Париже топталась на месте. Они никуда не продвигались. Иногда они представляли себе, стараясь перещеголять друг друга обилием подробностей, расцвечивавших обычно каждую их мечту: вот он, сорокалетний хозяйчик, владелец сети предприятий, торгующих вразнос («Защита семейного очага»; «Мыло — слепым»; «Нуждающиеся студенты»); она хорошая домашняя хозяйка, в квартирке у них чистота, есть телевизор, машина, есть излюбленный семейный пансиончик, где они проводят отпуск. Или, наоборот, и это было еще хуже: состарившиеся представители богемы, в свитерах и бархатных штанах, просиживают они каждый вечер на одной и той же террасе кафе бульвара Сен-Жермен или на Монпарнасе, кое-как перебиваются от случая к случаю, ничтожные до кончиков своих черных ногтей.

Появились и мечты о деревенской жизни, вдали от всех соблазнов. Они станут жить просто и умеренно. У них будет дом из белого камня на краю деревни, теплые бархатные штаны, прочные ботинки, непромокаемые куртки, палки с железными наконечниками, шапки, и каждый вечер они будут подолгу гулять в лесу. Вернувшись домой, они приготовят себе чай, поджарят гренки, как англичане, подбросят в камин большие поленья; поставят на проигрыватель квартет, который никогда им не наскучит; прочитают все большие романы, на которые у них раньше не хватало времени, будут принимать у себя друзей.

Эти пасторальные порывы возникали часто, но до реальных планов дело почти никогда не доходило. Два-три раза они наводили справки о том, чем бы они могли заняться в деревне, но ничего подходящего не оказалось. Однажды у них промелькнула мысль стать школьными учителями, но они тут же с отвращением ее отбросили, представив себе переполненные классы и бесконечные, томительные уроки. Неопределенно поговаривали, не сделаться ли им книгоношами и не поселиться ли на какой-нибудь заброшенной ферме в Провансе и открыть там производство примитивных глиняных изделий. Потом им понравилось фантазировать, что в Париже они будут проводить только три дня в неделю, зарабатывая за это время на безбедную жизнь, а остальное время жить в департаментах Ионны или Луары. Но эти эмбриональные мечты никогда не заходили достаточно далеко. Они ни разу не удосужились рассмотреть их реальную возможность, или, вернее, невозможность.

Они мечтали бросить работу, послать все к черту,

тельного курса, назначили в Махарес, еще на тридцать пять километров дальше в глубь страны.

Это было очень неудачно. Они хотели отказаться. Ведь их ждут в Тунисе, там для них подыскали квартиру, и только туда они хотели и рассчитывали поехать. Но было уже слишком поздно. Они пересдали свою парижскую квартиру, заказали билеты, устроили прощальный вечер. Ведь так давно они мечтали уехать. К тому же Сфакс, самое название которого им было едва знакомо, ведь это же конец света, пустыня, а им, с их любовью к необычным ситуациям, нравилось думать, что они будут изолированы, отрезаны, удалены от всего мира, как никогда прежде. Однако они решили, что должность учителя если и не унизительна, то, уж во всяком случае, достаточно тяжела; и Жером добился расторжения своего договора — они рассудили, что одного жалованья Сильвии им хватит на двоих, пока он на месте не подыщет себе какую-нибудь работу.

Итак, они уехали. Им устроили проводы на вокзале, а утром 23 октября они с четырьмя чемоданами, книгами и походной кроватью отплыли из Марселя на «Командан Крюбелье» в Тунис. Море было бурное, а завтрак — очень плохой. У них началась морская болезнь, они приняли порошки и долго спали. На следующее утро на горизонте показался Тунис. Погода разгулялась. Они улыбались друг другу. Увидели остров — им сказали, что он называется План, — потом пошли большие пляжи, длинные и узкие, а за коммерческим портом Ла-Гулетт, на озере, они увидели стаи перелетных птиц.

Они радовались, что уехали. Им казалось, что

где непрерывно жужжал огромный вращающийся вентилятор. На липких столах, покрытых клеенками, роилось множество мух, плохо побритый официант разгонял их, лениво помахивая салфеткой. За двести франков они съели салат из тунца и эскалоп по-милански.

Потом отправились на поиски отеля, сняли там комнату и попросили доставить им багаж. Они умылись, прилегли на минутку, потом переоделись и снова вышли. Сильвия направилась в технический коллеж, Жером поджидал ее на улице на скамейке. К четырем часам Сфакс начал медленно пробуждаться от спячки. Появились сотни детей, потом женщины под чадрами, полицейские, одетые в серый поплин, нищие, повозки, ослы, приодетые буржуа.

Сильвия вышла, держа в руках расписание своих занятий. Они еще погуляли, выпили разливного пива, поели оливок и соленого миндаля. Газетчики продавали позавчерашний номер «Фигаро». Вот они и прибыли.

На следующий день Сильвия познакомилась кое с кем из своих будущих коллег. Они помогли ей найти квартиру. Там были три огромные комнаты с высокими потолками, никак не обставленные; длинный коридор заканчивался маленьким квадратным холлом, откуда пять дверей вели в три комнаты, ванную и необъятной величины кухню. Два балкона выходили на рыболовный порт, внутреннюю гавань южной стороны фарватера, которая несколько напоминала Сен-Тропез, и на зловонную лагуну. Впервые пошли они в арабскую часть города: купили там пружинный матрас, тюфяк из конского волоса, два плетеных кресла,

ной чашечке турецкого кофе, они слушали «Крейцерову сонату», «Эрцгерцога», «Девушка и Смерть», и эта музыка, которая в огромной, почти пустой комнате, чуть ли не зале, приобретала удивительный резонанс, преображала все вокруг, делала комнату обжитой: она была гостем, дорогим другом, потерянным и чудом обретенным вновь, она делила с ними пищу, рассказывала о Париже; холодным ноябрьским вечером в этом чужом городе, где ничто им не принадлежало, где им было не по себе, музыка уносила их назад, в прошлое, она возвращала им забытые чувства товарищества и человеческой общности, как будто в этой комнате, с циновкой на полу, с двумя рядами книг на стене и проигрывателем, на которые падал свет из-под цилиндрического абажура, возникала некая заветная зона, не подвластная ни пространству, ни времени. Но вне этой комнаты все было им чужим, они чувствовали себя изгнанниками: длинный коридор, где шаги отдавались чересчур гулко, огромная неприветливая ледяная спальня, вся обстановка которой состояла из слишком широкой и слишком жесткой постели, пахнувшей соломой, шаткой лампы, поставленной на старый ящик, служивший ночным столиком, плетеной корзины с бельем, табуретки, на которую кучей была свалена одежда; третьей комнатой они не пользовались и никогда туда не заходили. В их квартиру вела каменная лестница, начинавшаяся в вестибюле, который часто заметало песком, дальше шла улица — три двухэтажных дома, сарай, где сушились губки, и пустырь. За пустырем начинался город.

Восемь месяцев, прожитых в Сфаксе, были, несомненно, самыми удивительными за всю их жизнь.

Они не могли разобраться в самых простых вещах, видели перед собой лишь лабиринт улиц; задрав голову, они восхищались то балконом из кованого железа, то раскрашенной балкой, то чистыми линиями стрельчатого окна, нежной игрой света и тени или удивительно узкой лесенкой; но все их прогулки были бесцельны; они кружились в постоянном страхе заблудиться и быстро уставали. В конце концов ничто не привлекало их особенно в этих жалких хибарках, почти неотличимых друг от друга лавчонках, крытых базарах, в этом необъяснимом для них чередовании пустынных улиц с улицами, кишащими толпой, которая торопилась непонятно куда и зачем.

Ощущение чужеродности особенно усиливалось, становясь почти угнетающим в свободные послеобеденные часы и в безнадежно пустые воскресенья,— тогда они пересекали арабский город из конца в конец и, миновав Баб-Джебли, добирались до нескончаемых предместий Сфакса. На километры тянулись крошечные садики, кактусовые изгороди, саманные дома, хибарки из толя и картона; потом огромные лагуны, пустынные и гнилостные, а еще дальше, где-то у горизонта, виднелись первые оливковые плантации. Они шагали часами; проходили мимо казарм, пересекали пустыри, заболоченные низменности.

И когда они возвращались в европейский город, проходили мимо кино «Хиллаль» или кино «Нур», усаживались в «Режансе» за столик, хлопали в ладоши, чтобы подозвать официанта, заказывали кока-колу или бутылочку пива, покупали последний номер «Монд», свистнув торговца, неизменно одетого в длинную и грязную белую рубаху, покупали у него несколько пакетиков арахиса, жареного миндаля, фисташек

или семян сосны, они не без грусти понимали, что тут они дома.

Они прохаживались под серыми от пыли пальмами; шли мимо неомавританских фасадов на авеню Бургиба; бросали мельком взгляд на безобразные витрины: жалкая мебель, люстры из кованого железа, теплые одеяла, ученические тетради, выходные платья, дамская обувь, баллоны с бутаном — это был их мир, их подлинный мир. Домой они возвращались, еле волоча ноги; Жером готовил кофе в чехословацких «стиляжках», Сильвия проверяла кипы тетрадей.

Вначале Жером пытался найти работу; он несколько раз ездил в Тунис, и благодаря рекомендательным письмам, которыми запасся во Франции, а также с помощью тунисских друзей ему удалось встретиться с людьми, работавшими в области информации, радио, туризма, народного образования. Но все хлопоты были напрасны; опросных анкет в Тунисе не проводили, не было и временных заработков, а все не часто встречавшиеся синекуры были прочно заняты; да к тому же у него не было настоящей специальности: он не инженер, не бухгалтер, не чертежник, не врач. Ему снова предложили должность учителя или классного надзирателя — это ему совсем не улыбалось, и он очень быстро отложил всякое попечение о работе. Жалованье Сильвии позволяло им жить скромно, а в Сфаксе так жило большинство.

Сильвия выбивалась из сил, втолковывая согласно программе красоты стиля Малерба и Расина ученикам, которые по возрасту были старше ее и не умели писать. Жером бездельничал. Он строил различные

к экзаменам по социологии, порядок свои мысли о кино, но ничего доводил до конца. Он болтался по улицам в своих ботинках от Уестона, бродил по порту, шлялся по рынку. Заходил в музей, перекидывался словечком со сторожем, разглядывал несколько минут древнюю амфору, надпись на надгробии, мозаику, изображавшую Давида в львином рву или Амфитриту верхом на дельфине. Наблюдал за игрой в теннис на корте, расположенном под крепостной стеной; проходил из конца в конец арабский город, заходил на базары, ощупывал ткани, взвешивал на руке медную утварь и седла. Покупал все газеты, решал кроссворды, брал книги в библиотеке, писал друзьям довольно грустные письма, которые часто оставались без ответа.

Занятия Сильвии определяли ритм их жизни. Неде ля складывалась из нескольких светлых дней: поне дельника, потому что Сильвия была свободна по у рам, а в кино менялась программа; среды, когд Сильвия была свободна в послеобеденное врем пятницы, когда она была свободна весь день и сн ва менялась кинопрограмма; все остальные дни бы черными. Воскресенье было днем нейтральным, пр ятным по утрам — можно было поваляться в пост ли и почитать только что прибывшие парижские жу налы, — невероятно долгим после полудня и зл вещим к вечеру, если только их не привлекал како нибудь фильм, что было большой редкостью, ибо д выдающихся или хотя бы сносных фильма обычно давались подряд. Так протекали недели. Они следов ли одна за другой с удручающим однообразием: ч

жизни, даже отпуска, который им казался таким невероятно далеким, даже не мечтали вернуться во Францию.

Они не испытывали ни радости, ни печали, ни даже скуки, но случалось, они начинали сомневаться в самом факте своего существования, да и правда — существовали ли они на самом деле? Ответ на этот обескураживающий вопрос не доставил бы им удовольствия; разве что где-то в глубине сознания брезжила не совсем, впрочем, определенная уверенность в том, что подобная жизнь целесообразна, соответствует их натурам и, как ни парадоксально, необходима им: они находились в самом центре пустоты, обосновались на ничейной земле прямых улиц, желтого песка, лагун, серых пальм — в мире, которого они не понимали и не старались понять, потому что в своей прежней жизни они вовсе не готовились к тому, что им понадобится приспосабляться, переделываться, перекраивая себя соответственно тому или иному пейзажу, климату, образу жизни: Сильвия ни в чем не походила на учительницу, которой считалась, а когда Жером шлялся по улицам, казалось, что он на подошвах своих английских ботинок перетащил сюда если не родину, то, уж во всяком случае, свой квартал, свое гетто, свою климатическую зону; но на улице Ларби-Зарук, где они поселились, не было даже той мечети, которая составляет гордость улицы Катрфаж, и вообще, как ни напрягай воображение, в Сфакс не перенесешь ни «Мак-Магона», ни «Гаррибара», ни «Бальзара», ни «Контрэскарп», ни зала «Плейель», ни «Июньской ночи на берегу Сены». Но в этой пустоте — именно из-за этой пустоты, из-за

полного отсутствия всего, из-за этого вакуума, из-за существования на ничейной земле, в условиях «tabula rasa» — им казалось, что они очищаются, обретают большую простоту, настоящую скромность. К тому же на фоне общей нищеты, царящей в Тунисе, их собственная нищета уже не имела прежнего значения, так же как и те небольшие лишения, которые они испытывали, будучи цивилизованными особями, привыкшими к душам, машинам и замороженным напиткам.

Сильвия давала уроки, спрашивала учеников, проверяла тетради. Жером ходил в городскую библиотеку, где читал без разбора Боржеса, Труайя, Зерафа. Ели они в маленьком ресторанчике, почти всегда за одним и тем же столом и почти одни и те же блюда: салат из тунца, эскалоп, или шашлык, или жареную рыбу, фрукты. Заходили в «Режанс» выпить чашечку кофе-экспресс со стаканом холодной воды. Они прочитывали кипы газет, смотрели фильмы, шатались по улицам.

Их жизнь походила на застарелую привычку, на почти устоявшуюся тоску — это была совершенно пустая жизнь.

Начиная с апреля они совершили несколько поездок. Иногда, когда впереди бывало три-четыре свободных дня и кое-какие деньги, они нанимали машину и ехали на юг. Или субботним вечером в шесть часов отправлялись на маршрутном такси в Сусс или Тунис и оставались там до утра понедельника.

Им хотелось убежать из Сфакса, от его мрачных

улиц и пустоты, найти в открывающихся за ним пейзажах и вырисовывающихся на горизонте развалинах нечто, что бы их прельстило, потрясло, какое-то сверхъестественное великолепие, которое оправдало бы их жизнь в Сфаксе. Иногда им везло: с высоты какой-нибудь горы им открывался вид на развалины дворца, храма, театра, или на зеленеющий оазис, или на длинный пляж тончайшего песка, тянущийся полукругом от края и до края горизонта. Но чаще всего, покинув Сфакс, они обнаруживали через несколько десятков километров такие же унылые улицы, такие же кишащие людьми совершенно непонятные им базары, такие же лагуны, такие же безобразные пальмы, такую же сушь.

Они повидали Габес, Тозер, Нефту, Гафсу и Метлави, развалины Сбейтлы, Кассерины, Телепты; они пересекли мертвые города, названия которых некогда казались им волшебными: Махарес, Муларес, Матмата, Меденин; доезжали до границы Ливии.

На многие километры тянулась каменистая, серая, необитаемая земля. Там ничего не произрастало, кроме редких пучков желтой колючей травы. Им казалось, что они часами катят в облаке пыли по дороге, различить которую можно было лишь по древним рытвинам да полустертым следам проехавших ранее машин, где на горизонте ничего, кроме расплывчатых сероватых холмов, и где глазу не на чем остановиться, разве что попадется скелет осла, или старый заржавленный бидон, или нагромождение камней, которое когда-то было домом.

Или они ехали по отмеченной вехами, но совершенно забитой, местами даже опасной дороге, они

Они ехали мимо огромных цистерн и по неудобной дороге добирались до развалин: четыре колонны семиметровой высоты, которые ничего не поддерживали; рухнувшие дома, в которых еще отчетливо был виден весь план постройки, начиная с выложенного плитками внутреннего дворика и кончая всеми ушедшими в землю комнатами, обвалившимися ступеньками и подвалами; мощенные плитками улицы, остатки сточных труб. Самозваные гиды предлагали серебряных рыбок, позеленевшие монеты и статуэтки из обожженной глины.

Перед отъездом они заходили на рынки и крытые базары. Они блуждали по лабиринту галерей, проходов и тупичков. Брадобрей брил под открытым небом, а рядом громоздилось множество глиняных сосудов. На ослов грузили огромные конические веревочные корзины с молотым перцем. В ювелирном ряду и в ряду, где продавали ткани, продавцы, сидевшие, поджав босые ноги, на кипах одеял, разворачивали перед ними ковры из длинной пушистой шерсти и ковры короткошерстые, предлагали красные шерстяные бурнусы, шерстяные и шелковые чадры, расшитые серебром кожаные седла, блюда из чеканной меди, изделия из дерева, оружие, музыкальные инструменты, дешевые драгоценности, шали, шитые золотом, пергаменты со множеством арабесок.

Они ничего не покупали. Отчасти потому, что не знали, как купить, и волновались при одной мысли, что придется торговаться, но прежде всего потому, что ничто их не привлекало. Ни одна из этих вещей, даже те, что казались им роскошными, не соответствовала их представлению о богатстве. Они проходили мимо, заинтересованные или равнодушные, но все, что они видели, было чуждо им, не трогало их, принадлежало

стых стенах, сплошь уставленных книгами; в нем было сумрачно и прохладно, как в могильном склепе; были и крошечные комнатки, беленные известью, словно монашеские кельи, где стояло по два глубоких низеньких кресла и по такому же низкому столику; другие комнаты, устланные толстыми циновками, были длинные, узкие, с низкими потолками; потом шли комнаты, меблированные на английский лад, со скамейками в оконных проемах и монументальными каминами, возле которых друг против друга стояло по два дивана. В парке между лимонными, апельсиновыми и миндальными деревьями змеились устланные белым мрамором дорожки, по их краям высились фрагменты античных колонн и статуй. Там журчали ручейки и возле гротов из раковин ниспадали каскады; в бассейнах с огромными белыми водяными лилиями мелькали серебристые рыбки. Павлины прогуливались на свободе, как в былых мечтах Жерома и Сильвии; аркады из роз вели к укромным гнездышкам среди густой зелени.

Но все это опоздало. Три дня, проведенных в Хаммамете, не вывели их из оцепенения. Им показалось, что вся эта роскошь, богатство, все это изобилие красот их уже нисколько не трогает. Раньше они продали бы душу дьяволу за такие расписные изразцы, как в здешних ванных комнатах, за фонтаны в саду, за клетчатый бобриковый ковер в главном вестибюле, за дубовые панели библиотеки, за весь этот фаянс, вазы, ковры. Теперь они отдали им должное только как предмету своих прежних мечтаний: не то что они стали бесчувственными — они просто уже не понимали, к чему все это, они потеряли ориентир. Конечно, им всего легче было бы обосноваться именно в этом Тунисе, космополитическом Тунисе, с его очарова-

дились в развалинах какой-то очень старой мечты, в ее бесформенных обломках.

У них не осталось ничего. Они подошли к концу пути, оказались на самом краю той весьма сомнительной траектории, которую прочертила их жизнь за последние шесть лет, посвященных погоне неизвестно за чем, ни к чему не приведшей и ничему их не научившей.

дились в развалинах какой-то очень старой мечты, в ее бесформенных обломках.

У них не осталось ничего. Они подошли к концу пути, оказались на самом краю той весьма сомнительной траектории, которую прочертила их жизнь за последние шесть лет, посвященных погоне неизвестно за чем, ни к чему не приведшей и ничему их не научившей.

собираются провести отпуск: большой дом в Турени, хороший стол, деревенские развлечения.

— А не вернуться ли нам? — спросит один из них.

— Все может пойти по-прежнему, — ответит другой.

Они упакуют чемоданы. Уложат книги, гравюры, фотографии друзей, выбросят накопившиеся бумажки, раздадут мебель, плохо отструганные доски, бруски с дюжиной отверстий, отправят багаж. И станут отсчитывать дни, часы, минуты.

В последние сфакские часы они торжественно совершат свою обычную прогулку. Пересекут Центральный рынок, пройдут мимо порта, приостановятся, чтобы, как и каждый день до этого, полюбоваться на огромные губки, сохнущие на солнце, минуют итальянскую колбасную, пройдут мимо отеля «Под оливами», мимо городской библиотеки, потом повернут по авеню Бургиба, пройдут мимо уродливого собора, завернут к коллежу, где в последний раз раскланяются, как делали это ежедневно, с господином Мишри, старшим надзирателем, который вышагивает взад-вперед у главного входа, пройдут по улице Виктора Гюго, в последний раз увидят свой ставший столь привычным ресторанчик, греческую церковь. Потом через ворота Касбы войдут в арабский город, пройдут сперва улицей Баб-Джедид, потом улицей Бея, выйдут через ворота Баб-Диван, дойдут до аркад на авеню Хеди-Шакер, минуют театр, два кинематографа, банк, в последний раз выпьют кофе в «Режансе», в последний раз купят сигареты, в последний раз — газеты.

будут в порт. Процедура отплытия будет длинной и скучной, с большим трудом отыщут они для своих шезлонгов свободное местечко на палубе.

Переезд пройдет без происшествий. В Марселе они выпьют по чашечке кофе с молоком и рогаликами. Купят вчерашний номер «Монд» и «Либерасьон». В поезде под стук колес они внутренне исполнят «Аллилуйя Мессии», ликующие гимны. Они будут отсчитывать километры; они изойдут восторгами при виде французского пейзажа — обширных нив, зеленых лесов, пастбищ, долин.

Они приедут в одиннадцать часов вечера. На вокзале их встретят все друзья. Друзья придут в восторг от их прекрасного вида: они будут загоревшими, словно великие путешественники, на головах у них будут красоваться огромные соломенные шляпы. Они станут рассказывать о Сфаксе, пустыне, великолепных развалинах, дешевой жизни, лазурном море. Их потащат в бар «Гарри». Они тут же опьянеют. Они будут счастливы.

Итак, они вернутся, и это-то и будет хуже всего. Они вновь обретут улицу Катрфаж, великолепное дерево во дворе, свою крошечную квартирку, такую прелестную из-за низких потолков, и оба окна: одно с красной, другое с зеленой занавеской; свои любимые старые книги, кипы журналов, узенькую кровать, малюсенькую кухоньку, столь любезный им беспорядок.

Они вновь увидят Париж, и это будет настоящим

праздником. Они пойдут бродить вдоль Сены, по садам Пале-Рояля, по маленьким уличкам Сен-Жермена. Освещенные витрины вновь прельстят их своими соблазнами. Мясные лавки будут ломиться от всяческой снеди. Они замешаются в сутолоку универсальных магазинов. Погрузят руки в груды шелков, прикоснутся ласкающим жестом к тяжелым флаконам духов, будут перебирать галстуки.

Они попытаются вести прежнюю жизнь. Они восстановят связи с рекламными агентствами. Но все это уже потеряет свое очарование. Они вновь начнут задыхаться. Им будет казаться, что они подохнут от мелочности, скудости.

Они опять возмечтают о богатстве. Станут шарить по водосточным желобам в надежде подобрать бумажник, набитый банковыми билетами по тысяче франков каждый, или хотя бы билетик метро. У них опять возникнут мечты о бегстве в деревню. И даже о Сфаксе.

Долго они не продержатся.

И вот настанет день — разве не знали они всегда, что он настанет? — и они твердо решат покончить со всем этим раз и навсегда, как сделали другие. Узнав об их решении, друзья будут подыскивать им работу. Их рекомендуют во многие агентства. Полные надежды, они напишут свои автобиографии, тщательно взвешивая каждое слово. Удача — хотя в полном смысле слова это трудно назвать удачей, — наконец, улыбнется им. Их служебные заслуги — несмотря на полную их нерегулярность — зачтутся. Их примут. Они сумеют найти слова, необходимые, чтобы произвести впечатление.

Таким-то вот образом, после многих лет бродяжничества, устав мелочно рассчитывать и негодовать на себя за эту мелочность, Жером и Сильвия примут — и даже с благодарностью — пост с двойной ответственностью, но определенным жалованьем и посчитают за золотые россыпи то, что им предложит некий магнат рекламного дела.

Их назначат в Бордо, где они возглавят агентство. Они тщательно подготовятся к отъезду. Приведут в порядок квартирку: сделают ремонт, освободятся от нагромождения книг, тюков белья, избытка посуды, которые всегда мешали им и под бременем которых они почти задыхались. Они будут свободно расхаживать по своим двум комнаткам, о которых они прежде так часто думали, что там ничто невозможно и уж во всяком случае — свобода передвижения. Они увидят их впервые такими, какими давно мечтали увидеть: наконец-то покрашенными, сверкающими белизной и чистотой, без единой пылинки, без пятен, без трещин, и вот тут-то и низкие потолки и деревенский дворик с великолепным деревом предстанут перед их глазами такими, какими они некогда их увидели, а теперь вскорости увидят новые владельцы.

Они распродадут книги букинистам, а барахло — старьевщикам. Они обегают портных, портних, бельевщиц. Упакуют чемоданы.

Это не будет настоящим богатством. Их не сделают президентами или генеральными директорами. Через их руки будут проходить только чужие миллионы. Им перепадут лишь крохи, необходимые для представительства: шелковые рубашки, перчатки из свиной кожи. Они будут хорошо представительство-

вать. И за это обзаведутся хорошей квартирой, одеждой, пищей. Им не о чем будет сожалеть.

Они получат вожделенный диван Честерфилд, и мягкие, глубокие, как в итальянских машинах, кресла из настоящей кожи, и столы деревенского стиля, и желанные конторки, банкетки, бобриковые и шелковые ковры, книжные шкафы из светлого дуба.

У них будут огромные, светлые, просторные комнаты, импозантная внутренняя лестница, стеклянные стены, неприступный вид. Они станут обладателями фаянса, серебра, кружевных скатертей, богатых переплетов из красной кожи.

Им не будет и тридцати лет. Вся жизнь еще будет впереди.

Они покинут Париж в начале сентября. В вагоне первого класса они будут почти одни. Поезд быстро наберет скорость. Алюминиевый вагон станет мягко покачиваться.

Они уедут. Они все бросят. Они сбегут. Ничто не сможет их удержать.

«Помнишь ли ты?» — спросит Жером. И они отдадутся воспоминаниям о прошлом: тяжелые дни, юность, первые встречи, первые опросы, дерево в саду улицы Катрфаж, пропавшие друзья, братские пирушки. Они вспомнят, как рыскали по Парижу в поисках сигарет и не в силах были пройти, не остановившись, мимо антикварных лавок. Они мысленно вновь переживут свою жизнь в Сфаксе, свое медленное умирание и почти триумфальное возвращение.

«А теперь — вот», — скажет Сильвия. И это им покажется почти естественным.

Им будет приятно ощущать на себе легкие одежды. Они посибаритствуют в пустынном вагоне. За окном мелькнет французский ландшафт. Они молча взглянут на поля созревшей пшеницы, на мачты высоковольтной передачи.

Они увидят мукомольни, щеголеватые заводы, большие туристские лагеря, плотины, уединенные домики на лесных опушках. По белой дороге будут бежать дети.

Путешествие доставит им удовольствие. К полудню они небрежной походкой отправятся в вагон-ресторан. Они усядутся друг против друга у окна. Закажут по стаканчику виски. В последний раз обменяются заговорщицкой улыбкой. Туго накрахмаленные скатерти и салфетки, массивные приборы с маркой агентства спальных вагонов, толстые, украшенные гербами тарелки покажутся им прелюдией к великолепному пиршеству. Но завтрак, который им подадут, по правде говоря, будет попросту безвкусным.

Маркс сказал, что способ является частью истины в той же мере, что и результат. Нужно, чтобы поиски истины сами по себе были бы истинными; истинные поиски — это развернутая истина, отдельные части которой соединяются в результате.

Конец

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Вещи» — первая книга молодого французского писателя Жоржа Перека, социолога по профессии. В ней нарочито полемичен и заголовок — «Вещи», — хотя говорится в книге, конечно, о людях, и подзаголовок — «Одна из историй шестидесятых годов», — автор не претендует на постановку вечных проблем, его тревожит судьба современников. Не традиционна и форма этого романа: хоть у персонажей и есть имена — Жером и Сильвия, — но они лишены психологической глубины, объема, индивидуальности. Это, если угодно, условные алгебраические обозначения, с помощью которых Жорж Перек создает некую модель сознания и поведения молодой пары, принадлежащей к так называемым «интеллигентным кругам» и проходящей типичный (для шестидесятых годов нашего века, для Франции, вступающей в «цивилизацию изобилия») путь повзросления и перехода в иную общественную категорию, обычно именуемую в социологических исследованиях «кадрами».

«Вещи» — своего рода опыт социологического исследования, которое осуществлено, однако методами не науки, а искусства. Структура общественной молекулы, привлекающей внимание Перека, передана в самой художественной структуре его прозы. Автор вводит нас в мир Жерома и Сильвии, знакомя прежде

всего не с реальной, а с воображаемой их жизнью, не с тем, что они есть на самом деле, а с тем, чем они хотели бы быть. Воображаемая квартира Жерома и Сильвии, продуманная в мельчайших деталях до последней шляпки медного гвоздя, фактуры дерева или ткани, оттенков ковра, обивки или абажура, утверждает себя как подлинная реальность, заслоняет действительное бытие: греза структурна, конкретна, а жизнь аморфна, бесплотна, неосязаема. Перек — мифолог, он изучает (как этнолог изучает формы сознания первобытного племени) мистифицированное сознание мелкого буржуа, отравленного мифами неокапитализма, и прежде всего представлением о счастье, как об обладании всеми материальными благами мира. О счастье — как неограниченном потреблении. Жером и Сильвия заворожены приманками цивилизации изобилия. Но близок локоть... Доступность роскоши мнима, она лишь дурман, наркотик, парализующий действительные возможности, заложенные в человеке, отвлекающий его от индивидуального выбора, решения, поступка, действия. В воображаемой картине счастья Жерома и Сильвии действие отсутствует. Безраздельно господствуют вещи: они красивы, весомы, они обладают индивидуальностью, утраченной человеком. «Жить», в сущности, сведено к «иметь».

Когда от иллюзорной картины счастья Перек переходит к описанию реального быта, на первый план выступает стандартность, макетированность потребностей — как духовных, так и житейских — его персонажей. От «англоманства» в одежде до «левых убеждений» у Жерома и Сильвии все заемное, все подсказано им извне: американскими фильмами, передовицами «Экспресс» и коммерческой рекламой. Им ничего не приходится постигать и решать самим — есть модель, где все предусмотрено, выверено, отвешено, некий полуфабрикат, поглощаемый без малейшего мозгового усилия, внутренней борьбы, напряжения чувств. Единственно подлинным, «своим» оказывается жажда присвоения, жажда потребления. Естественно поэтому, что «ученические годы» Жерома и Сильвии сводятся к недолгому богем-

ному периоду, слабой попытке начать «новую жизнь», учительствуя в экзотическом Тунисе, после чего они благополучно становятся на твердый якорь упорядоченного буржуазного существования. На смену мечтательному условному наклонению пролога, бесстрастно хроникальному прошедшему времени основных глав в эпилоге приходит резкое, как приговор, будущее время, которое не оставляет места сомнениям: будет взрослость, солидность, отказ от видимости «свободы», будет приличное место, сравнительно большое жалованье, довольно высокая степень комфорта и все та же внутренняя пустота, полость, заполняемая мифами неокапитализма, посильными создателями и послушными манекенами которых будут и они сами в своем рекламном агентстве. Будут вещи. Будет обстановка счастья. Счастья не будет. Ибо не хлебом единым жив человек.

«Вещи» — роман воспитания. История Сильвии и Жерома — современная модификация традиционной для классического романа истории формирования молодого человека, отправляющегося завоевывать мир. Перек отсылает нас к «Воспитанию чувств» Флобера и ритмом своей прозы и ее интонацией: нарочито объективистской и лирической в одно и то же время. Да и упоминание в первом же абзаце книги «Города Монтеро» — колесного парохода, на котором Фредерик Моро отправляется в свое сентиментальное путешествие, — тоже не случайно. Однако с романом воспитания происходит парадоксальная метаморфоза: из него исчезает герой, индивидуальность, характер. Перек говорит о Жероме и Сильвии «они», и это собирательное местоимение акцентирует перевес социального над психологическим, инварианты общественной молекулы над неповторимостью индивидуальности. Иссякание самодеятельности буржуазии, предопределившее уже во второй половине XIX века уход с литературной сцены цельных, агрессивных, деятельных героев Бальзака, к шестидесятым годам нашего века сделало чрезмерно человечной, чрезмерно объемной даже мятущуюся, женственно податливую, пассивную натуру Фредерика Моро: пси-

хологическая сложность героя Флобера представляется Переку опасной для читателя, ибо его трехмерность может замаскировать тот тупик обезличенности, в который заводит современная необуржуазная цивилизация с ее оболванивающими средствами массовой культуры, унификацией вкусов и взглядов, навязчивой прокламацией изобилия, комфорта и бездумного досуга, как вершин человеческого бытия. Вещи — вот подлинные воспитатели чувств юноши шестидесятых годов XX века. Вещи превращают его в вожделеющий глаз, в вакуум, жадно вбирающий фетишизированные блага цивилизации, в ненасытного Потребителя. Вещи становятся мерой человека.

В последнее десятилетие, особенно после окончания войны в Алжире, когда Франция оказалась в обстановке относительного политического застоя и материального процветания, этот процесс овеществления человека стал предельно нагляден. И художественная литература откликнулась на него тревожным эхом. Роман Перека можно поставить в ряд с «Игрушками» и «Печальными похождениями мойщика витрин» другого молодого писателя — Жоржа Мишеля, с «Прелестными картинками» Симоны де Бовуар, «Внуками века» Кристины Рошфор или «Нейлоновым веком» Эльзы Триоле: все эти произведения стремятся разрушить радужную картину благополучия, прорвать пелену привычной, успокоительной мифологии неокапитализма, нередко облекаемой в обманчивые формы гуманизма. Традиционная тема маленького человека поэтому оборачивается в них не утверждением, что и маленький человек — Человек, а срыванием человекообразной личины с того, кто поддался, кто уже смоделирован, как робот, как пассивное вместилище норм неокапиталистической цивилизации. Гротескность, апсихологизм, вытеснение человека вещами, внутренних конфликтов — стереотипами морали и поведения, действия — описаниями в ряде произведений этого плана — здоровая реакция литературы на превращение буржуазной идеологии в сугубо охранительную и лживую систему, провозглашающую вслух ценности личности, в то

время как общественные отношения нивелируют индивидуальность, обостряя и углубляя процессы, в результате которых «материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы» *.

И хотя Жером и Сильвия не трагические герои, хотя они благополучно врастают в «цивилизацию изобилья», «Вещи» Перека — современная трагедия. Только узел трагического конфликта вынесен за пределы сюжета — в сознание читателя, живущего жизнью персонажей этой повести. Если, конечно, до него дойдет сигнал тревоги, поданный писателем.

Л. Зонина

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., т. XII, стр. 4.